

*РУССКАЯ*  
*ЛИТЕРАТУРА*  
**ХІХ ВЕКА**  
• ВТОРАЯ ПОЛОВИНА •  
**10** клас

**ХРЕСТОМАТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

В двух частях

*ЧАСТЬ 2*

Составитель В. П. Журавлев

*Рекомендовано  
Министерством образования  
Российской Федерации*

4-е издание

МОСКВА  
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  
2000

УДК 373.167.1:821.161.1  
ББК 83.3(2Рос-Рус)1я72  
Р89

**Русская** литература XIX века. (Вторая половина). 10 кл.  
Р89 Хрестоматия художеств, произведений. В 2 ч. Ч. 2/Сост.  
В. П. Журавлев. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2000.—  
346 с: портр. — ISBN 5-09-009884-0.

В хрестоматию «Русская литература XIX века (вторая половина)» включены произведения русской классической литературы, рекомендованные программами для изучения в 10 классе общеобразовательных заведений.

УДК 373.167.1:821.161.1  
ББК 83.3(2Рос-Рус) 1я72

ISBN 5-09-009884-0(2)  
5-09-009885-9 (общ.)

© Издательство «Просвещение», 1998  
© Художественное оформление.  
Издательство «Просвещение», 1998  
Все права защищены

# Николай Алексеевич НЕКРАСОВ

(1821—1877)



## КРАТКАЯ БИОХРОНИКА Н. А. НЕКРАСОВА

- 1821, 28 ноября (10 декабря) — в местечке Немирове Подольской губернии на Украине родился Николай Алексеевич Некрасов.
- 1824, осень — отец будущего поэта Алексей Сергеевич Некрасов уходит в отставку и с семьей поселяется в родовом имении Грешнево Ярославской губернии.
- 1832—1837 — годы учебы Николая Некрасова в Ярославской гимназии, начало поэтического творчества.
- 1838 — приезд в Петербург. В журнале «Сын Отечества» (№ 5) опубликовано стихотворение «Мысль».
- 1839 — неудачная попытка поступления на филологический факультет университета.
- 1840 — выход в свет первого сборника стихотворений «Мечты и звуки». Неудача поэтического дебюта.
- 1841 — начало сотрудничества в театральных журналах Ф. А. Кони. Публикация критических статей, театральных фельетонов, водевилей. Премьера первого водевиля Н. Некрасова «Шила в мешке не утаишь».
- 1842 — знакомство с Виссарионом Белинским.
- 1846—выход «Петербургского сборника», в котором напечатаны стихотворения Н. А. Некрасова «В дороге», «Колыбельная песня».
- 1847 — начало некрасовского «Современника».
- 1853 — тяжелая болезнь поэта.
- 1854 — приход в «Современник» Н. Г. Чернышевского.

- 1856 — отъезд Н. А. Некрасова за границу. Выход в свет сборника «Стихотворения».
- 1857 — возвращение на родину. Поэма «Тишина». Приход в «Современник» Н. А. Добролюбова.
- 1860 — уход из «Современника» И. С. Тургенева.
- 1861 — завершена поэма «Коробейники».
- 1862 — первое запрещение «Современника».
- 1863 — возобновление «Современника». Написана поэма «Мороз, Красный нос». Начало работы над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».
- 1866 — закрытие «Современника».
- 1868 — Н. А. Некрасов возглавляет редакцию журнала «Отечественные записки».
- 1871 — 1872 — создание поэмы «Русские женщины».
- 1877 — выход книги «Последние песни».
- 1877, 27 декабря (8 января) — Николай Алексеевич Некрасов скончался в Санкт-Петербурге.
- 1877, 30 декабря — похороны поэта на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге.

## В ДОРОГЕ

— Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,  
Разгони чем-нибудь мою скуку!  
Песню, что ли, приятель, запой  
Про рекрутский набор и разлуку;  
Небылицей какой посмеши,  
Или что ты видал, расскажи —  
Буду, братец, за все благодарен.

«Самому мне невесело, барин:  
Сокрушила злодейка жена!..  
Слышь ты, смолоду, сударь, она  
В барском доме была учена  
Вместе с барышней разным наукам,  
Понимаешь-ста, шить и вязать,  
На варгане играть и читать —  
Всем дворянским манерам и штукам.  
Одевалась не то что у нас  
На селе сарафанницы наши,  
А примерно представить, в атлас;  
Ела вдоволь и меду и каши.  
Вид вальяжной имела такой,  
Хоть бы барыне, слышь ты, природной,  
И не то что наш брат крепостной,  
Тоись, сватался к ней благородной  
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,  
Байт кучер, Иваныч Торопка),  
Да, знать, счастья ей бог не судил:  
Не нужна-ста в дворянстве холопка!

Вышла замуж господская дочь,  
Да и в Питер... А справивши свадьбу,  
Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,  
Захворал и на троицу в ночь  
Отдал богу господскую душу,  
Сиротинкой оставивши Грушу...  
Через месяц приехал зятек —  
Перебрал по ревизии души  
И с запашки ссадил на оброк,  
А потом добрался и до Груши.

Знать, она согрubiла ему  
В чем-нибудь, али на просто тесно  
Вместе жить оказалось в дому,  
Понимаешь-ста, нам неизвестно,—  
Воротил он ее на село —  
Знай-де место свое ты, мужичка!  
Взвyla девка — крутенько пришло:  
Белоручка, вишь ты, белоличка!

Как на грех, девятнадцатый год  
Мне в ту пору случись... посадили  
На тягло — да на ней и женили...  
Тоись, сколько я нажил хлопот!  
Вид такой, понимаешь, суровой...  
Ни косить, ни ходить за коровой!..  
Грех сказать, чтоб ленива была,  
Да, вишь, дело в руках не спорилось!  
Как дрова или воду несла,  
Как на барщину шла — становилось  
Инда жалко подчас... да куды! —  
Не утешишь ее и обновкой:  
То натерли ей ноги коты<sup>1</sup>,  
То, слышь, ей в сарафане неловко.  
При чужих и туда и сюда,  
А украдкой ревет как шальная...  
Погубили ее господа,  
А была бы бабенка лихая!

На какой-то патрет все глядит  
Да читает какую-то книжку...  
Инда страх меня, слышь ты, щемит,  
Что погубит она и сынишку:  
Учит грамоте, моет, стрижет,  
Словно барченка, каждый день чешет,  
Бить не бьет — бить и мне не дает...  
Да недолго пострела потешит!  
Слышь, как щепка худа и бледна,  
Ходит, тоись, совсем через силу,  
В день двух ложек не съест толокна —  
Чай, свалим через месяц в могилу...  
А с чего?.. Видит бог, не томил  
Я ее безустанной работой...  
Одевал и кормил, без пути не бранил,  
Уважал, тоись, вот как, с охотой...

*Коты* (областное) — полусапожки, высокие ботинки.

А, слышь, бить — так почти не бивал,  
Разве только под пьяную руку...»  
— Ну, довольно, ящик! Разогнал  
Ты мою неотвязную скуку!..

1845

## РОДИНА

И вот они опять, знакомые места,  
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,  
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,  
Разврата грязного и мелкого тиранства;  
Где рой подавленных и трепетных рабов  
Завидовал житью последних барских псов,  
Где было суждено мне божий свет увидеть,  
Где научился я терпеть и ненавидеть,  
Но, ненависть в душе постыдно притая,  
Где иногда бывал помещиком и я;  
Где от души моей, довременно растленной,  
Так рано отлетел покой благословенный,  
И неребяческих желаний и тревог  
Огонь томительный до срока сердце жег...  
Воспоминания дней юности — известных  
Под громким именем роскошных и чудесных,—  
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,  
Во всей своей красе проходят предо мной...

Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальной  
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?  
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!  
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..  
Навеки отдана угрюмому невежде,  
Не предавалась ты несбыточной надежде —  
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,  
Ты жребий свой несла в молчании рабы...  
Но знаю: не была душа твоя бесстрашна,  
Она была горда, упорна и прекрасна,  
И все, что вынести в тебе достало сил,  
Предсмертный шепот твой губителю простил!..  
И ты, делившая с страдальцей безгласной  
И горе и позор судьбы ее ужасной,  
Тебя уж также нет, сестра души моей!  
Из дома крепостных любовниц и псарей,  
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила  
Тому, которого не знала, не любила...  
Но, матери своей печальную судьбу  
На свете повторив, лежала ты в гробу  
С такой холодной и строгою улыбкой,

Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух:  
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг,  
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,  
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.  
Я к няне убежал... Ах, няня! сколько раз  
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;  
При имени ее впадая в умиление,  
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Ее бессмысленной и вредной доброты  
На память мне пришли немногие черты,  
И грудь моя полна враждой и злостью новой...  
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,  
Отрадного душе воспоминанья нет:  
Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет,  
Проклятьем на меня легло неотразимым,—  
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И, с отвращением кругом кидая взор,  
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —  
В томящий летний зной защита и прохлада,—  
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,  
Понутив голову над высохшим ручьем,  
И набок валится пустой и мрачный дом,  
Где вторил звону чаш и гласу ликований  
Глухой и вечный гул подавленных страданий,  
И только тот один, кто всех собой давил,  
Свободно и дышал, и действовал, и жил...

1846

\* \* \*

Еду ли ночью по улице темной,  
Бури заслушаюсь в пасмурный день —  
Друг беззащитный, больной и бездомный,  
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!  
Сердце сожмется мучительной думой.  
С детства судьба невзлюбила тебя:  
Болен и зол был отец твой угрюмый,  
Замуж пошла ты — другого любя.  
Муж тебе выпал недобрый на долю:  
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;  
Не покорилась — ушла ты на волю,  
Да не на радость сошлась и со мной...



Помнишь ли день, как больной и голодный  
Я унывал, выбивался из сил?  
В комнате нашей, пустой и холодной,  
Пар от дыханья волнами ходил.  
Помнишь ли труб заунывные звуки,  
Брызги дождя, полусвет, полутьму?  
Плакал твой сын, и холодные руки  
Ты согревала дыханьем ему.  
Он не смолкал — и пронзительно звонок  
Был его крик... Становилось темней;  
Вдоволь поплакал и умер ребенок...  
Бедная! слез безрассудных не лей!  
С горя да с голоду завтра мы оба  
Также глубоко и сладко заснем;  
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба —  
Вместе свезут и положат рядком...

В разных углах мы сидели угрюмо.  
Помню, была ты бледна и слаба,  
Зрела в тебе сокровенная дума,  
В сердце твоём совершалась борьба.  
Я задремал. Ты ушла молчаливо,  
Принарядившись, как будто к венцу,  
И через час принесла торопливо  
Гробик ребенку и ужин отцу.  
Голод мучительный мы утолили,  
В комнате темной зажгли огонек,  
Сына одели и в гроб положили...  
Случай нас выручил? Бог ли помог?  
Ты не спешила печальным признаньем,  
Я ничего не спросил,  
Только мы оба глядели с рыданьем,  
Только угрюм и озлоблен я был...

Где ты теперь? С нищетой горемычной  
Злая тебя сокрушила борьба?  
Или пошла ты дорогой обычной,  
И роковая свершится судьба?  
Кто ж защитит тебя? Все без изъятя  
Именем страшным тебя назовут.  
Только во мне шевельнутся проклятья —  
И бесполезно замрут!..

1847

## ТРОЙКА

Что ты жадно глядишь на дорогу  
В стороне от веселых подруг?  
Знать, забило сердечко тревогу —  
Всё лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо  
За промчавшейся тройкой вослед?..  
На тебя, подбоченясь красиво,  
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,  
Полюбить тебя всякий не прочь:  
Вьется алая лента игриво  
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой  
Пробивается легкий пушок,  
Из-под брови твоей полукруглой  
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,  
Полный чар, зажигающих кровь,  
Старика разорит на подарки,  
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,  
Будет жизнь и полна и легка...  
Да не то тебе пало на долю:  
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,  
Перетянешь уродливо грудь,  
Будет бить тебя муж-привередник  
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной  
Отцветешь, не успевши расцвести,  
Погрузишься ты в сон непробудный,  
Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,  
Полном жизни,— появится вдруг  
Выраженье тупого терпенья  
И бессмысленный вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,  
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,  
Бесполезно угасшую силу  
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу  
И за тройкой вослед не спеши,  
И тоскливую в сердце тревогу  
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:  
Кони крепки, и сыты, и бойки,—  
И ямщик под хмельком, и к другой  
Мчится вихрем корнет молодой...

1846

\* \* \*

Блажен незлобивый поэт,  
В ком мало желчи, много чувства:  
Ему так искренен привет  
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,  
Как ропот волн, ласкает ухо;  
Он чужд сомнения в себе —  
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,  
Гнушаясь дерзкою сатирой,  
Он прочно властвует толпой  
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,  
Его не гонят, не злословят,  
И современники ему  
При жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы  
Тому, чей благородный гений  
Стал обличителем толпы,  
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,  
Уста вооружив сатирой,  
Проходит он тернистый путь  
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:  
Он ловит звуки одобренья  
Не в сладком ропоте хвалы,  
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь  
Мечте высокого признанья,  
Он проповедует любовь  
Враждебным словом отрицанья,—

И каждый звук его речей  
Плодит ему врагов суровых,  
И умных и пустых людей,  
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут  
И, только труп его увидя,  
Как много сделал он, поймут,  
И как любил он — ненавидя!

1852

### ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ

«Стой, ямщик! жара несносная,  
Дальше ехать не могу!»  
Вишь, пора-то сенокосная —  
Вся деревня на лугу.

У двора у постоянного  
Только нянюшка сидит,  
Закачав ребенка малого,  
И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку  
Да, зевая, крестит рот.  
Сел я рядом с ней на лесенку,  
Няня дремлет и поет:

«Ниже тоненькой былиночки  
Надо голову клонить,  
Чтоб на свете сиротиночке  
Беспечально век прожить.

Сила ломит и соломушку —  
Поклонись пониже ей,  
Чтобы старшие Еремушку  
В люди вывели скорей.

В люди выдешь, все с вельможами  
Будешь дружество водить,  
С молодницами пригожими  
Шутки вольные шутить.

И привольная и праздная  
Жизнь покатится шутя...»  
Эка песня безобразная!

— Няня! дай-ка мне дитя!

«На, родной! да ты откуда?»

— Я проезжий, городской.

«Покачай; а я покудова  
Подремлю... да песню спой!»

— Как не спеть! спою, родимая,  
Только, знаешь, не твою.

У меня своя, любимая...

«Баю-баюшки, баю!

В пошлой лени усыпляющий  
Пошлых жизни мудрецов,  
Будь он проклят, растлевающий  
Пошлый опыт — ум глупцов!

В нас под кровлею отеческой  
Не запало ни одно  
Жизни чистой, человеческой  
Плодотворное зерно.

Будь счастливей! Силу новую  
Благородных юных дней  
В форму старую, готовую  
Необдуманно не лей!

Жизни вольным впечатлениям  
Душу вольную отдай,  
Человеческим стремлениям  
В ней проснуться не мешай.

С ними ты рожден природою —  
Возлелей их, сохрани!  
Братством, Равенством, Свободою  
Называются они.

Возлюби их! на служение  
Им отдайся до конца!  
Нет прекрасней назначения,  
Лучезарней нет венца.

Будешь редкое явление,  
Чудо родины своей,  
Не холопское терпение  
Принесешь ты в жертву ей:

Необузданную, дикую  
К угнетателям вражду  
И доверенность великую  
К бескорыстному труду.

С этой ненавистью правою,  
С этой верою святою  
Над неправдою лукавою  
Грянешь божьею грозой...

И тогда-то...» Вдруг проснулося  
И заплакало дитя.  
Няня быстро встрепенулася  
И взяла его, крестя.

«Покормись, родимый, грудкою!  
Сыт?.. Ну, баюшки-баю!»  
И запела над малоткою  
Снова песенку свою...

1859

## ПЕСНЯ О ТРУДЕ (ИЗ «МЕДВЕЖЬЕЙ ОХОТЫ»)

Кто хочет сделаться глупцом,  
Тому мы предлагаем:  
Пускай пренебрежет трудом  
И жить начнет лентяем.

Хоть Геркулесом будь рожден  
И умственным атлетом,  
Все ж будет слаб, как тряпка, он  
И жалкий трус при этом.

Нет в жизни праздника тому,  
Кто не трудится в будень.  
Пока есть лишний мед в дому,  
Терпим пчелами трутень;

Когда ж общественной нужды  
Придет крутое время,  
Лентяй, негодный никуда!  
Ты всем двойное время.

Когда придут зараза, мор,  
Ты первый кайся богу,  
Запрешь ворота на запор,  
Но смерть найдет дорогу!..

Кому бросаются в глаза  
В труде одни мозоли,  
Тот глуп, не смыслит ни аза!  
Страдает праздность боле.

Когда придет упадок сил,  
Хандра подступит злая —  
Верь, ни единый пес не выл  
Тоскливее лентяя!

Итак — о славе не мечтай,  
Не будь на деньги падох,  
Трудись по силам и желай,  
Чтоб труд был вечно сладок.

Чтоб испустить последний вздох  
Не в праздности — в работе,  
Как старый пес мой, что издох  
Над гаршнепом в болоте!..

1867

### ПАМЯТИ ДОБРЮЛЮБОВА

Суров ты был, ты в молодые годы  
Умел рассудку страсти подчинять.  
Учил ты жить для славы, для свободы,  
Но более учил ты умирать.

Сознательно мирские наслажденья  
Ты отвергал, ты чистоту хранил,  
Ты жажде сердца не дал утоленья;  
Как женщину, ты родину любил,  
Свои труды, надежды, помышленья

Ты отдал ей; ты честные сердца  
Ей покорял. Взывая к жизни новой,  
И светлый рай, и перлы для венца  
Готовил ты любовнице суровой,

Но слишком рано твои ударил час,  
И вешнее перо из рук упало.  
Какой светильник разума угас!  
Какое сердце биться перестало!

Года минули, страсти улеглись,  
И высоко вознесся ты над нами...  
Плачь, русская земля! но и гордись —  
С тех пор как ты стоишь под небесами,—

Такого сына не рождала ты  
И в недра не брала свои обратно:  
Сокровища душевной красоты  
Совмещены в нем были благодатно...

Природа-мать! когда б таких людей  
Ты иногда не посылала миру,  
Заглохла б нива жизни...

1864

### ПРОРОК

Не говори: «Забыл он осторожность!  
Он будет сам судьбы своей виной!..»  
Не хуже нас он видит невозможность  
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенной и шире.  
В его душе нет помыслов мирских.  
«Жить для себя возможно только в мире,  
Но умереть возможно для других!»

Так мыслит он — и смерть ему любезна.  
Не скажет он, что жизнь ему нужна,  
Не скажет он, что гибель бесполезна:  
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,  
Но час придет — он будет на кресте;  
Его послал бог Гнева и Печали  
Царям земли напомнить о Христе.

1874

### ЭЛЕГИЯ

*А. Н. Е<рако>ву*

Пускай нам говорит изменчивая мода,  
Что тема старая «страдания народа»  
И что поэзия забыть ее должна.  
Не верьте, юноши! не стареет она.  
О, если бы ее могли состарить годы!  
Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы



Влачатся в нищете, покорствуя бичам,  
Как тощие стада по скошенным лугам,  
Оплакивать их рок, служить им будет муза,  
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..  
Толпе напоминать, что бедствует народ  
В то время, как она ликует и поет,  
К народу возбуждать вниманье сильных мира  
Чему достойнее служить могла бы лира?..

Я лиру посвятил народу своему.  
Быть может, я умру неведомый ему,  
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...  
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,  
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...  
Я видел красный день: в России нет раба!  
И слезы сладкие я пролил в умиленьи...  
«Довольно ликовать в наивном увлеченьи,—  
Шепнула Муза мне.— Пора идти вперед:  
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,  
Старик ли медленный шагает за сохою,  
Бежит ли по лугу, играя и свистя,  
С отцовским завтраком довольное дитя,  
Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы —  
Ответа я ищу на тайные вопросы,  
Кипящие в уме: «В последние года  
Сносней ли стала ты, крестьянская страда?  
И рабству долготу пришедшая на смену  
Свобода, наконец, внесла ли перемену  
В народные судьбы? в напевы сельских дев?  
Иль так же горестен нестройный их напев?..»

Уж вечер наступает. Волнуемый мечтами,  
По нивам, по лугам, уставленным стогами,  
Задумчиво брожу в прохладной полутьме,  
И песнь сама собой слагается в уме,  
Недавних, тайных дум живое воплощенье:  
На сельские труды зову благословенье,  
Народному врагу проклятия сулю,  
А другу у небес могущества молю,  
И песнь моя громка!.. Ей вторят доли, нивы,  
И эхо дальних гор ей шлет свои отзвуки,  
И лес откликнулся... Природа внемлет мне,  
Но тот, о ком пою в вечерней тишине,  
Кому посвящены мечтания поэта,  
Увы! не внемлет он — и не дает ответа...

# КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

(поэма)

\* \* •&

КРЕСТЬЯНКА

(ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ)

## Пролог

«Не всё между мужчинами  
Отыскивать счастливого,  
Пошупаем-ка баб!» —  
Решили наши странники  
И стали баб опрашивать.  
В селе Наготине  
Сказали, как отрезали:  
«У нас такой не водится,  
А есть в селе Клину:  
Корова холмогорская,  
Не баба! доброумнее  
И глаже — бабы нет.  
Спросите вы Корчагину  
Матрену Тимофеевну,  
Она же губернаторша...»

Подумали — пошли.

Уж налились колосики.  
Стоят столбы точеные,  
Головки золоченые,  
Задумчиво и ласково  
Шумят. Пора чудесная!  
Нет веселей, наряднее,  
Богаче нет поры!  
«Ой, поле многохлебное!  
Теперь и не подумаешь,  
Как много люди божий  
Побились над тобой,  
Покамест ты оделося  
Тяжелым, ровным колосом  
И стало перед пахарем,  
Как войско пред царем!  
Не столько росы теплые,  
Как пот с лица крестьянского  
Увлажили тебя!..»

Довольны наши странники,  
То рожью, то пшеницею,

То ячменем идут.  
Пшеница их не радует:  
Ты тем перед крестьянином,  
Пшеница, провинилася,  
Что кормишь ты *по выбору*,  
Зато не налюбуются  
На рожь, что *кормит всех*.

«Льны тоже нонче знатные...  
Ай! бедненький! застрял!»  
Тут жаворонка малого,  
Застрявшего во льну,  
Роман распутал бережно,  
Поцеловал: «Лети!»  
И птичка ввысь помчалася,  
За нею умиленные  
Следили мужики...

Поспел горох! Накинулись,  
Как саранча на полосу:  
Горох, что девку красную,  
Кто ни пройдет — щипнет!  
Теперь горох у всякого —  
У старого, у малого,  
Рассыпался горох  
На семьдесят дорог!

Вся овощь огородная  
Поспела; дети носятся  
Кто с репой, кто с морковкою,  
Подсолнечник лущат,  
А бабы свеклу дергают,  
Такая свекла добрая!  
Точь-в-точь сапожки красные,  
Лежат на полосе.

Шли долго ли, коротко ли,  
Шли близко ли, далеко ли,  
Вот наконец и Клин.  
Селенье незавидное:  
Что ни изба — с подпоркою,  
Как нищий с костылем;  
А с крыш солома скормлена  
Скоту. Стоят, как остовы,  
Убогие дома.  
Ненастной, поздней осенью  
Так смотрят гнезда галочки,  
Когда галчата вылетят

И ветер придорожные  
Березы обнажит...  
Народ в полях — работает.  
Заметив за селением  
Усадьбу на пригорочке,  
Пошли пока — глядеть.

Огромный дом, широкий двор,  
Пруд, ивами обсаженный,  
Посреди двора.  
Над домом башня высится,  
Балконом окруженная,  
Над башней шпиль торчит.

В воротах с ними встретился  
Лакей, какой-то буркою  
Прикрытый: «Вам кого?  
Помещик за границую,  
А управитель при смерти!..» —  
И спину показал.  
Крестьяне наши прыснули:  
По всей спине дворового  
Был нарисован лев.  
«Ну, штука!» Долго спорили,  
Что за наряд диковинный,  
Пока Пахом догадливый  
Загадки не решил:  
«Холуй хитер: сташил ковер,  
В ковре дыру проделает,  
В дыру просунет голову  
Да и гуляет так!..»

Как прусаки<sup>1</sup> слоняются  
По нетоплёной горнице,  
Когда их вымораживать  
Надумает мужик,  
В усадьбе той слонялися  
Голодные дворовые,  
Покинутые барином  
На произвол судьбы.  
Все старые, все хворые  
И как в цыганском таборе  
Одеты. По пруду  
Ташили бредень пятеро.

«Бог на помочь! Как ловится?..»

*й* — рыжие тараканы.

«Всего один карась!  
А было их до пропасти,  
Да крепко навалились мы,  
Теперь — свищи в кулак!»

«Хоть бы пяточек вынули!» —  
Проговорила бледная  
Беременная женщина,  
Усердно раздувавшая  
Костер на берегу.

«Точеные-то столбики  
С балкону, что ли, умница?» —  
Спросили мужики.  
«С балкону!»

«То-то высохли!  
А ты не дуй! Сгорят они  
Скорее, чем карасиков  
Изловят на уху!»  
«Жду — не дождусь. Измаялся  
На черством хлебе Митенька,  
Эх, горе — не житье!»

А тут она погладила  
Полунагого мальчика  
(Сидел в тазу заржавленном  
Курносый мальчуган).

«А что? ему, чай, холодно,—  
Сказал сурово Провушка,—  
В железном-то тазу?» —  
И в руки взять ребеночка  
Хотел. Дитя заплакало,  
А мать кричит: «Не тронь его!  
Не видишь? Он катается!  
*Ну, ну! пошел!* Колясочка  
Ведь это у него!..»

Что шаг, то натыкались  
Крестьяне на диковину:  
Особая и странная  
Работа всюду шла.  
Один дворовый мучился  
У двери: ручки медные  
Отвинчивал; другой  
Нес изразцы какие-то.  
«Наковырял, Егорушка?» —

Окликнули с пруда.  
В саду ребята яблоню  
Качали. «Мало, дяденька!  
Теперь они остались  
Уж только наверху,  
А было их до пропасти!»

«Да что в них проку? зелены!»

«Мы рады и таким!»  
Бродили долго по саду:  
«Затей-то! горы, пропасти!  
И пруд опять... Чай, лебеди  
Гуляли по пруду?..  
Беседка... стойте! с надписью!..  
Демьян, крестьянин грамотный,  
Читает по складам.

«Эй, врешь!» Хохочут странники...  
Опять — и то же самое  
Читает им Демьян.  
(Насилу догадались,  
Что надпись переправлена:  
Затерты две-три литеры,  
Из слова благородного  
Такая вышла дрянь!)

Заметив любознательность  
Крестьян, дворовый седенький  
К ним с книгой подошел:  
«Купите!» Как ни тужился,  
Мудреного заглавия  
Не одолел Демьян:  
«Садись-ка ты помещиком  
Под липу на скамеечку  
Да сам ее читай!»

«А тоже грамотеями  
Считаетесь!..— с досадою  
Дворовый прошипел.—  
На что вам книги умные?  
Вам вывески питейные  
Да слово «воспрещается»,  
Что на столбах встречается,  
Достаточно читать!»

«Дорожки так загажены,  
Что срам! У девок каменных

Отшибены носы!  
Пропали фрукты-ягоды,  
Пропали гуси-лебеди  
У холуя в зобу!  
Что церкви без священника,  
Угодам без крестьянина,  
То саду без помещика! —  
Решили мужики.—  
Помещик прочно строился,  
Такую даль загадывал,  
А вот...» (Смеются шестеро,  
Седьмой повесил нос.)  
Вдруг с вышины откуда-то  
Как грянет песня! Головы  
Задрали мужики:  
Вкруг башни по балкончику  
Похаживал в подряснике  
Какой-то человек  
И пел... В вечернем воздухе,  
Как колокол серебряный,  
Гудел громовый бас...  
Гудел — и прямо за сердце  
Хватал он наших странников:  
Не русские слова,  
А горе в них такое же,  
Как в русской песне, слышалось,  
Без берегу, без дна.  
Такие звуки плавные,  
Рыдающие... «Умница,  
Какой мужчина там?» —  
Спросил Роман у женщины,  
Уже кормившей Митеньку  
Горяченькой ухой.  
«Певец Ново-Архангельский,  
Его из Малороссии  
Сманили господу.  
Свезти его в Италию  
Сулились, да уехали...  
А он бы рад-радехонек —  
Какая уж Италия? —  
Обратно в Конотоп.  
Ему здесь делать нечего...  
Собаки дом покинули  
(Озлилась круто женщина),  
Кому здесь дело есть?  
Да у него ни спереди,  
Ни сзади... кроме голоса...»  
«Зато уж голосок!»

«Не то еще услышите,  
Как до утра пробудете:  
Отсюда версты три  
Есть дьякон... тоже с голосом...  
Так вот они затеяли  
По-своему здороваться  
На утренней заре.  
На башню как подыметесь  
Да рявкнет наш: „Здо-ро-во ли  
Жи-вешь, о-тец И-пат?“  
Так стекла затрещат!  
А тот ему, оттуда-то:  
„Здо-ро-во, наш со-ло-ву-шко!  
Жду вод-ку пить!“ — „Ид-ду!..“  
„Иду"-то это в воздухе  
Час целый откликается...  
Такие жеребцы!..»  
Домой скотина гонится,  
Дорога запыхалась,  
Запахло молоком.  
Вздохнула мать Митюхина:  
«Хоть бы одна коровушка  
На барский двор вошла!»  
— «Чу! песня за деревнею,  
Прощай, горюшка бедная!  
Идем встречать народ».

Легко вздохнули странники:  
Им после дворни ноющей  
Красива показалася  
Здоровая, поющая  
Толпа жнецов и жниц,—  
Всё дело девки красили  
(Толпа без красных девушек  
Что рожь без васильков).

«Путь добрый! А которая  
Матрена Тимофеевна?»

«Что нужно, молодцы?»

Матрена Тимофеевна  
Осанистая женщина,  
Широкая и плотная,  
Лет тридцати осьми.  
Красива; волос с проседью,  
Глаза большие, строгие,  
Ресницы богатейшие,



Сурова и смугла.  
На ней рубаха белая,  
Да сарафан коротенький,  
Да серп через плечо.

«Что нужно вам, молодчики?»

Помалчивали странники,  
Покамест бабы прочие  
Не поушли вперед,  
Потом поклон отвесили:  
«Мы люди чужестранные,  
У нас забота есть,  
Такая ли заботушка,  
Что из домов повыжила,  
С работой раздружила нас,  
Отбила от еды.  
Мы мужики степенные,  
Из временнообязанных,  
Подтянутой губернии,  
Уезда Терпигорева,  
Пустопорожней волости,  
Из смежных деревень:  
Заплатова, Дырявина,  
Разутова, Знобишина,  
Горелова, Неелова —  
Неурожайка тож.  
Идя путем-дорогою,  
Сошлись мы невзначай,  
Сошлись мы — и заспорили:  
Кому живется счастливо?  
Вольготно на Руси?  
Роман сказал: помещику,  
Демьян сказал: чиновнику,  
Лука сказал: попу,  
Купчине толстопузому,—  
Сказали братья Губины,  
Иван и Митродор.  
Пахом сказал: светлейшему,  
Вельможному боярину,  
Министру государеву,  
А Пров сказал: царю...  
Мужик что бык: втемяшится  
В башку какая блажь —  
Колом ее оттудова  
Не выбьешь! Как ни спорили,  
Не согласились мы!  
Поспоривши, повздорили,

Повздоривши, подралися,  
Подравшися, удумали  
Не расходиться врозь,  
В домишки не ворочаться,  
Не видеться ни с женами,  
Ни с малыми ребятами,  
Ни с стариками старыми,  
Покуда спору нашему  
Решенья не найдем,  
Покуда не доведем  
Как ни на есть доподлинно:  
Кому жить любо-весело,  
Вольготно на Руси?..

Попа уж мы довели,  
Довели помещика,  
Да прямо мы к тебе!  
Чем нам искать чиновника,  
Купца, министра царского,  
Царя (еще допустит ли  
Нас, мужичонков, царь?) —  
Освободи нас, выручи!  
Молва идет всесветная,  
Что ты вольготно, счастливо  
Живешь... Скажи по-божески:  
В чем счастье твое?»

Не то чтоб удивилася  
Матрена Тимофеевна,  
А как-то закручинилась,  
Задумалась она...

«Не дело вы затеяли!  
Теперь пора рабочая,  
Досуг ли толковать?..»

«Полцарства мы промеряли,  
Никто нам не отказывал!» —  
Просили мужики.

«У нас уж колос сыпется,  
Рук не хватает, милые».

«А мы на что, кума?  
Давай серпы! Все семеро  
Как станем завтра — к вечеру  
Всю рожь твою сожнем!»

Смекнула Тимофеевна,  
Что дело подходящее.  
«Согласна,— говорит,—  
Такие-то вы бравые,  
Нажнете, не заметите,  
Снопов по десяти».

«А ты нам душу выложи!»

«Не скрою ничего!»

Покуда Тимофеевна  
С хозяйством управлялася,  
Крестьяне место знатное  
Избрали за избой:  
Тут рига, конопляники,  
Два стога здоровенные,  
Богатый огород.  
И дуб тут рос — дубов краса.  
Под ним присели странники:  
*«Эй, скатерть самобранная,  
Попотчуй мужиков».*

И скатерть развернулася,  
Откудова ни взялися  
Две дюжие руки,  
Ведро вина поставили,  
Горой наклали хлебушка  
И спрятались опять...  
Гогочут братья Губины:  
Такую редьку схапали  
На огороде — страсть!

Уж звезды рассажались  
По небу темно-синему,  
Высоко месяц стал,  
Когда пришла хозяйюшка  
И стала нашим странникам  
«Всю душу открывать...»

## Глава 1

### ДО ЗАМУЖЕСТВА

«Мне счастье в девках выпало:  
У нас была хорошая,  
Непьющая семья.  
За батюшкой, за матушкой,

Как у Христа за пазухой,  
Жила я, молодцы.  
Отец, поднявшись до свету,  
Будил дочурку ласкою,  
А брат веселой песенкой;  
Покамест одевается,  
Поет: „Вставай, сестра!  
По избам обряжаются,  
В часовенках спасаются —  
Пора вставать, пора!  
Пастух уж со скотиною  
Угнался; за малиною  
Ушли подружки в бор,  
В полях трудятся пахари,  
В лесу стучит топор!"  
Управится с горшечками,  
Всё вымоет, всё выскребет,  
Посадит хлебы в печь —  
Идет родная матушка,  
Не будит — пуще кутает:  
„Спи, милая, касатушка,  
Спи, силу запасай!  
В чужой семье — недолог сон!  
Уложат спать позднихонько!  
Придут будить до солнышка,  
Лукошко припасут,  
На донце бросят корочку:  
Сгложи ее — да полное  
Лукошко набери!.."

Да не в лесу родилася,  
Не пеньем я молилася,  
Не много я спала.  
В день Симеона<sup>1</sup> батюшка  
Сажал меня на бурушку  
И вывел из младенчества  
По пятому годку,  
А на седьмой за бурушкой  
Сама я в стадо бегала,  
Отцу носила завтракать,  
Утяточек пасла.  
Потом грибы да ягоды,  
Потом: „Бери-ка грабельки  
Да сено вороши!"  
Так к делу приобыкла я...

*День Симеона — церковный праздник, проводы лета.*

И добрая работница,  
И петь-плясать охотница  
Я смолоду была.  
День в поле проработаешь,  
Грязна домой воротиться,  
А банька-то на что?

Спасибо жаркой баенке,  
Березовому веничку,  
Студеному ключу,—  
Опять бела, свежихонька,  
За прялицей с подружками  
До полночи поёшь!

На парней я не вешалась,  
Наянов<sup>1</sup> обрывала я,  
А тихому шепну:  
„Я личиком разгарчива,  
А матушка догадлива,  
Не тронь! уйди!..“ — уйдет...  
Да как я их ни бегала,  
А выискался суженый,  
На горе — чужанин!  
Филипп Корчагин — питерщик,  
По мастерству печник.  
Родительница плакала:  
„Как рыбка в море синее  
Юркнешь ты! как соловушко  
Из гнездышка порхнешь!  
Чужая-то сторонущка  
Не сахаром посыпана,  
Не медом полита!  
Там холодно, там голодно,  
Там холеную доченьку  
Обвеют ветры буйные,  
Обграют черны вороны,  
Облают псы косматые  
И люди засмеют!..“  
А батюшка со сватами  
Повыпил. Закручинилась,  
Всю ночь я не спала...

Ах! что ты, парень, в девице  
Нашел во мне хорошего?  
Где высмотрел меня?  
О святках ли, как с горок я  
С ребятами, с подругами  
Каталась, смеючись?

Ошибся ты, отецкий сын!  
С игры, с катанья, с беганья,  
С морозу разгорелось  
У девушки лицо!  
На тихой ли беседушке?  
Я там была нарядная,  
Дородства и пригожества  
Понакопила за зиму,  
Цвела, как маков цвет!  
А ты бы поглядел меня,  
Как лен треплю, как снопики  
На риге молочу...  
В дому ли во родительском?..  
Ах! кабы знать! Послала бы  
Я в город отца-сокола:  
„Мил братец! шелку, гарусу  
Купи — семи цветов,  
Да garnитуру синего!"  
Я по углам бы вышила  
Москву, царя с царицею,  
Да Киев, да Царьград,  
А посередке — солнышко,

И эту занавесочку  
В окошке бы повесила,  
Авось ты загляделся бы,  
Меня бы промигал!..

Всю ночь я продумала...  
„Оставь, — я парню молвила,—  
Я в подневолье с волошки,  
Бог видит, не пойду!"

„Такую даль мы ехали!  
Иди! — сказал Филиппушка.—  
Не стану обижать!"

Тужила, горько плакала,  
А дело девка делала:  
На суженого искоса  
Поглядывала втай.  
Пригож-румян, широк-могуч,  
Рус волосом, тих говором —  
Пал на сердце Филипп!

„Ты стань-ка, добрый молодец,  
Против меня прямехонько,  
Стань на одной доске!

Гляди мне в очи ясные,  
Гляди в лицо румяное,  
Подумывай, смекай:  
Чтоб жить со мной — не каяться,  
А мне с тобой не плакаться...  
Я вся тут такова!"

„Небось не буду каяться,  
Небось не будешь плакаться!" —  
Филиппушка сказал.

Пока мы торговались,  
Филиппу я: „Уйди ты прочь!",  
А он: „Иди со мной!"  
Известно: „Ненаглядная,  
Хорошая... пригожая..."  
— „Ай!..." — вдруг рванулась я...  
„Чего ты? Эка силища!"  
Не удержи — не видеть бы

Вовек ему Матренушки,  
Да удержал Филипп!  
Пока мы торговались,  
Должно быть, так я думаю,  
Тогда и было счастьеце...  
А больше вряд когда!

Я помню, ночка звездная,  
Такая же хорошая,  
Как и теперь, была...

Вздыхнула Тимофеевна,  
Ко стогу приклонилася,  
Унынным, тихим голосом  
Пропела про себя:  
Ты скажи, за что,  
Молодой купец,  
Полюбил меня,  
Дочь крестьянскую?  
Я не в серебре,  
Я не в золоте,  
Жемчугами я  
Не увешана!

Чисто серебро —  
Чистота твоя,  
Красно золото —  
Красота твоя,

Бел-крупен жемчуг —  
Из очей твоих  
Слезы катятся...

Велел родимый батюшка,  
Благословила матушка,  
Поставили родители  
К дубовому столу,  
С краями чары налили:  
„Бери поднос, гостей-чужан  
С поклоном обноси!"  
Впервой я поклонилась —  
Вздрогнули ноги резвые;  
Второй я поклонилась —  
Поблекло бело личико;  
Я в третий поклонилась,  
И волюшка<sup>1</sup> скатилась  
С девичьей головы...»

«Так значит: свадьба? Следует,—  
Сказал один из Губиных,—  
Проздравить молодых».  
«Давай! Начин с хозяйшки.  
— Пьешь водку, Тимофеевна!»

«Старухе — да не пить?...»

## Глава II

### ПЕСНИ

У суда стоять  
Ломит ноженьки,  
Под венцом стоять  
Голова болит,  
Голова болит,  
Вспоминается  
Песня старая,  
Песня грозная.  
На широкий двор  
Гости въехали,  
Молоду жену  
Муж домой привез,

<sup>1</sup> Во время последней вечеринки, или порученья, с невесты снимают *волю*, то есть ленту, которую носят девицы до замужества.



А роденька-то  
Как набросится!  
Деверек ее —  
Расточиною,  
А золовушка —  
Щеголихою,  
Свекор-батюшка —  
Тот медведицей,  
А свекровушка —  
Людоедицей,  
Кто неряхою,  
Кто непряхою...

Всё, что в песенке  
Той певалось,  
Всё со мной теперь  
То и сталося!  
Чай, певали вы?  
Чай, вы знаете?..

«Начинай, кума!  
Нам подхватывать...»

#### Матрена

Спится мне, младенькой, дремлется,  
Клонит голову на подушечку,  
Свекор-батюшка по сеничкам похаживает,  
Сердитый по новым погуливает.

#### Странники (хором)

Стучит, гремит, стучит, гремит,  
Снохе спать не дает:  
Встань, встань, встань, ты — сонливая!  
Встань, встань, встань, ты — дремливая!  
Сонливая, дремливая, неурядливая!

#### Матрена

Спится мне, младенькой, дремлется,  
Клонит голову на подушечку,  
Свекровь-матушка по сеничкам похаживает,  
Сердита по новым погуливает.

#### Странники (хором)

Стучит, гремит, стучит, гремит,  
Снохе спать не дает:  
Встань, встань, встань, ты — сонливая!  
Встань, встань, встань, ты — дремливая!  
Сонливая, дремливая, неурядливая!

«Семья была большущая,  
Сварливая... попала я  
С девичьей холи в ад!  
В работу муж отправился,  
Молчать, терпеть советовал:  
Не плюй на раскаленное  
Железо — зашипит!  
Осталась я с золовками,  
Со свекром, со свекровушкой,  
Любить-голубить некому,  
А есть кому журить!  
На старшую золовушку,  
На Марфу богомольную,  
Работай, как раба;  
За свекром приглядывай,  
Сплошаешь — у кабатчика  
Пропажу выкупай.  
И встань и сядь с приметой,  
Не то свекровь обидится;  
А где их все-то знать?  
Приметы есть хорошие,  
А есть и бедокурные.  
Случилось так: свекровь  
Надула в уши свекору,  
Что рожь добрее родится  
Из краденых семян.  
Поехал ночью Тихоныч,  
Поймали,— полумертвого  
Подкинули в сарай...»

Как велено, так сделано:  
Ходила с гневом на сердце,  
А лишнего не молвила  
Словечка никому.  
Зимой пришел Филиппушка,  
Привез платочек шелковый  
Да прокатил на саночках  
В Екатеринин день,  
И горя словно не было!  
Запела, как певала я  
В родительском дому.  
Мы были однолеточки,  
Не трогай нас — нам весело,  
Всегда у нас лады.  
То правда, что и мужа-то  
Такого, как Филиппушка,  
Со свечкой поискать...»

«Уж будто не колачивал?»

Замялась Тимофеевна:  
«Раз только», — тихим голосом  
Промолвила она.

«За что?» — спросили странники.  
«Уж будто вы не знаете,  
Как ссоры деревенские  
Выходят? К муженьку  
Сестра гостить приехала,  
У ней коты разбились.  
„Дай башмаки Оленушке,  
Жена!“ — сказал Филипп.  
А я не вдруг ответила.  
Корчагу подымала я,  
Такая тяга: вымолвить  
Я слова не могла.  
Филипп Ильич прогневался,  
Пождал, пока поставила  
Корчагу на шесток,  
Да хлоп меня в висок!  
„Ну, благо ты приехала,  
И так походишь!“ — молвила  
Другая, незамужняя  
Филиппова сестра.

Филипп подбавил женушке.  
„Давненько не видались мы,  
А знать бы — так не ехать бы!“ —  
Сказала тут свекровь.

Еще подбавил Филюшка...  
И всё тут! Не годилось бы  
Жене побои мужнины  
Считать; да уж сказала я:  
Не скрою ничего!»

«Ну, женщины! с такими-то  
Змеями подколодными  
И мертвый плетъ возьмет!»

Хозяйка не ответила.  
Крестьяне, ради случая,  
По новой чарке выпили  
И хором песню грянули  
Про шелковую плеточку,  
Про мужнину родню.

Мой постылый муж  
Подымается:  
За шелкову плеть  
Принимается.

Хор

Плетка свистнула,  
Кровь пробрызнула...  
Ах! лели! лели!  
Кровь пробрызнула...

Свекру-батюшке  
Поклонилася:  
Свекор-батюшка,  
Отними меня  
От лиха мужа,  
Змея лютого!  
Свекор-батюшка  
Велит больше бить,  
Велит кровь пролить...

Хор

Плетка свистнула,  
Кровь пробрызнула...  
Ах! лели! лели!  
Кровь пробрызнула...

Свекровь-матушке  
Поклонилася:  
Свекровь-матушка,  
Отними меня  
От лиха мужа,  
Змея лютого!  
Свекровь-матушка  
Велит больше бить,  
Велит кровь пролить...

Хор

Плетка свистнула,  
Кровь пробрызнула...  
Ах! лели! лели!  
Кровь пробрызнула...

«Филипп на Благовещенье<sup>1</sup>  
Ушел, а на Казанскую<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Благовещение — 7 апреля, церковный праздник.

<sup>2</sup> Казанская — 4 ноября, церковный праздник.

Я сына родила.  
Как писанный был Демушка!  
Краса взята у солнышка,  
У снегу белизна,  
У маку губы алые,  
Бровь черная у соболя,  
У соболя сибирского,  
У сокола глаза!  
Весь гнев с души красавец мой  
Согнал улыбкой ангельской,  
Как солнышко весеннее  
Сгоняет снег с полей...  
Не стала я тревожиться,  
Что ни велят — работаю,  
Как ни бранят — молчу.

Да тут беда подсунулась:  
Абрам Гордеич Ситников,  
Господский управляющий,  
Стал крепко докучать:  
„Ты писаная кралечка,  
Ты наливная ягодка...“  
— „Отстань, бесстыдник! ягодка,  
Да бору не того!“  
Укланяла золовушку,  
Сама нейду на барщину,  
Так в избу прикатит!  
В сарае, в риге спрячуся —  
Свекровь оттуда вытащит:  
„Эй, не шути с огнем!“  
— „Гони его, родимая,  
По шее!“ — „А не хочешь ты  
Солдаткой быть?“ Я к дедушке:  
„Что делать? Научи!“

Из всей семейки мужниной  
Один Савелий, дедушка,  
Родитель свекра-батюшки,  
Жалел меня... Рассказывать  
Про деда, молодцы?»

«Вали всю подноготную!  
Накинем по два снопика»,—  
Сказали мужики.

«Ну, то-то! речь особая.  
Грех промолчать про дедушку.  
Счастливец тоже был...

### Глава III

#### САВЕЛИЙ, БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

С большущей сивой гривою,  
Чай, двадцать лет не стриженной,  
С большущей бородой,  
Дед на медведя смахивал,  
Особенно как из лесу,  
Согнувшись, выходил.  
Дугой спина у дедушки.  
Сначала всё боялась я,  
Как в низенькую горенку  
Входил он: ну распрямится?  
Пробьет дыру медведище  
В светелке головой!  
Да распрямится дедушка  
Не мог: ему уж стукнуло,  
По сказкам, сто годов.  
Дед жил в особой горнице,  
Семейки недолюбливал,  
В свой угол не пускал;  
А та сердилась, лаялась,  
Его «клейменым, каторжным»  
Честил родной сынок.  
Савелий не рассердится,  
Уйдет в свою светелочку,  
Читает святцы, крестится,  
Да вдруг и скажет весело:  
«Клейменный, да не раб!»...  
А крепко досадят ему —  
Подшутит: «Поглядите-тко,  
К нам сваты!» Незамужняя  
Золовунжа — к окну:  
Ан вместо сватов — нищие!  
Из оловянной пуговики  
Дед вылепил двугривенный,  
Подбросил на полу —  
Попался свекор-батюшка!  
Не пьяный из питейного —  
Побитый приплелся!  
Сидят, молчат за ужином:  
У свекра бровь рассечена,  
У деда, словно радуга,  
Усмешка на лице.

С весны до поздней осени  
Дед брал грибы да ягоды,  
Силочки становил

На глухарей, на рябчиков.  
А зиму разговаривал  
На печке сам с собой.  
Имел слова любимые,  
И выпускал их дедушка  
По слову через час:

«Погибшие... пропавшие...»

«Эх вы, Аники-воины!  
Со стариками, с бабами  
Вам только воевать!»

«Недотерпеть — пропасть!  
Перетерпеть — пропасть!..»

«Эх, доля святорусского  
Богатыря сермяжного!  
Всю жизнь его дерут.  
Раздумается временем  
О смерти — муки адские  
В ту-светной жизни ждут».

«Надумалась Корёжина<sup>2</sup>,  
Наддай! наддай! наддай!..»

И много! да забыла я...  
Как свекор развоуется,  
Бежала я к нему.  
Запремся. Я работаю,  
А Дема, словно яблочко  
В вершине старой яблони,  
У деда на плече  
Сидит румяный, свеженький...

Вот раз и говорю:

«За что тебя, Савельюшка,  
Зовут клейменым, каторжным?»

«Я каторжником был».  
— «Ты, дедушка?»

— «Я, внученька!»

<sup>1</sup> *Эх вы, Аники-воины!* — В народных сказаниях Аника — богатырь непомерной силы, оказавшийся робким и бессильным в поединке со смертью.

<sup>2</sup> *Корёжина* — по названию реки Корёги, Корёжской волости, Буйского уезда, Костромской губернии.

Я в землю немца Фогеля  
Христьяна Христианыча  
Живого закопал...»

«И полно! шутишь, дедушка!»

«Нет, не шучу. Послушай-ка!» —  
И всё мне рассказал.

«Во времена досюльные  
Мы были тоже барские,  
Да только ни помещиков,  
Ни немцев-управителей  
Не знали мы тогда.  
Не правили мы барщины,  
Оброков не платили мы,  
А так, когда рассудится,  
В три года раз пошлем».

«Да как же так, Савельюшка?»

«А были благодатные  
Такие времена.  
Недаром есть пословица,  
Что нашей-то сторонушки  
Три года черт искал.  
Кругом леса дремучие,  
Кругом болота топкие,  
Ни конному проехать к нам,  
Ни пешему пройти!  
Помещик наш Шалашников  
Через тропы звериные  
С полком своим — военный был —  
К нам доступиться пробовал,  
Да лыжи повернул!  
К нам земская полиция  
Не попадала по году, —  
Вот были времена!  
А ныне — барин под боком,  
Дорога скатерть скатертью...  
ТЬфу! прах ее возьми!..  
Нас только и тревожили  
Медведи... да с медведями  
Справлялись мы легко.  
С ножищем да с рогатиной  
Я сам страшной сохатого,  
По заповедным тропочкам  
Иду: „Мой лес!“ — кричу.



Раз только испугался я,  
Как наступил на сонную  
Медведицу в лесу.  
И то бежать не бросился,  
А так всадил рогатину,  
Что словно как на вертеле  
Цыпленок — завертелася  
И часу не жила!  
Спина в то время хрустнула,  
Побаливала изредка,  
Покуда молод был,  
А к старости согнулася.  
Не правда ли, Матренушка,  
На очеп<sup>1</sup> я похож?»

«Ты начал, так досказывай!  
Ну, жили — не тужили вы,  
Что ж дальше, голова?»

«По времени Шалашников  
Удумал шутку новую,  
Приходит к нам приказ:  
„Явиться!“ Не явились мы,  
Притихли, не шелохнемся  
В болотине своей.  
Была засуха сильная,  
Наехала полиция,  
Мы дань ей — медом, рыбою!  
Наехала опять,  
Грозит с конвоем выправить,  
Мы — шкурами звериными!  
А в третий — мы ничем!  
Обули лапти старые,  
Надели шапки рваные,  
Худые армяки —  
И тронулась Корёжина!..  
Пришли... (В губернском городе  
Стоял с полком Шалашников.)  
„Оброк!“ — „Оброку нет!  
Хлеба не уродились,  
Снеточки не ловились...“  
— „Оброк!“ — „Оброку нет!“  
Не стал и разговаривать:  
„Эй, перемена первая!“ —  
И начал нас пороть.

<sup>1</sup> Очеп — деревенский колодец.

Туга мошна корёжская!  
Да стоек и Шалашников:  
Уж языки мешались,  
Мозги уж потрясались  
В головушках — дерет!  
Укрепа богатырская,  
Не розги!.. Делать нечего!  
Кричим: постой, дай срок!  
Онучи распороли мы  
И барину «лобанчиков»  
Полшапки поднесли.  
Утих боец Шалашников!  
Такого-то горчайшего  
Поднес нам травнику,  
Сам выпил с нами, чокнулся  
С Корёгой покоренною:  
„Ну, благо вы сдались!  
А то — вот бог! — решился я  
Содрать с вас шкуру начисто...  
На барабан напялил бы  
И подарил полку!  
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!  
(Хохочет — рад придумочке):  
Вот был бы барабан!"  
Идем домой понурые...  
Два старика кряжистые  
Смеются... Ай, кряжи!  
Бумажки сторублевые  
Домой под подоплекою  
Нетронуты несут!  
Как уперлись: мы нищие —  
Так тем и отбоярились!  
Подумал я тогда:  
„Ну, ладно ж! черти сивые,  
Вперед не доведется вам  
Смеяться надо мной!"  
И прочим стало совестно,  
На церковь побожились:  
„Вперед не посраимся мы,  
Под розгами умрем!"

Понравились помещику  
Корёжские лобанчики,  
Что год — зовет... дерет...

Отменно драл Шалашников,  
А не ахти великие  
Доходы получал:

Сдавались люди слабые,  
А сильные за вотчину  
Стояли хорошо.  
Я тоже перетерпчивал,  
Помалчивал, подумывал:  
„Как ни дери, собачий сын,  
А всей души не вышибешь,  
Оставишь что-нибудь!"  
Как примет дань Шалашников,  
Уйдем — и за заставою  
Поделим барыши:  
„Что денег-то осталось!  
Дурак же ты, Шалашников!"  
И тешилась над барином  
Корёга в свой черед!  
Вот были люди гордые!  
А нынче дай затрещину —  
Исправнику, помещику  
Тащат последний грош!

Зато купцами жили мы...

Подходит лето красное,  
Ждем грамоты... Пришла...  
А в ней уведомление,  
Что господин Шалашников  
Под Варною<sup>1</sup> убит.  
Жалеть не пожалели мы,  
А пала дума на сердце:  
„Приходит благоденствию  
Крестьянскому конец!"  
И точно: небывалое  
Наследник средство выдумал:  
К нам немца подослал.  
Через леса дремучие,  
Через болота топкие  
Пешком пришел, шельмец!  
Один как перст: фуражечка  
Да тросточка, а в тросточке  
Для уженья снаряд.  
И был сначала тихонький:  
„Платите сколько можете".  
— „Не можем ничего!"  
— „Я барина уведомлю".  
— „Уведомь!.." Тем и кончилось.  
Стал жить да поживать.

*Варна* — турецкая крепость на Черном море, ныне порт в Болгарии.

Питался больше рыбою;  
Сидит на речке с удочкой  
Да сам себя то по носу,  
То по лбу — бац да бац!  
Смеялись мы: „Не любишь ты  
Корёжского комарика...  
Не любишь, немчура?..“  
Катается по бережку,  
Гогочет диким голосом,  
Как в бане на полке...

С ребятами, с девочками  
Сдружился, бродит по лесу...  
Недаром он бродил!  
„Коли платить не можете,  
Работайте!“ — „А в чем твоя  
Работа?“ — „Окопать  
Канавками желательно  
Болото...“ Окопали мы...  
„Теперь рубите лес...“  
— „Ну, хорошо!“ — рубили мы,  
А немчура показывал,  
Где надобно рубить.  
Глядим: выходит просека!  
Как просеку прочистили,  
К болоту поперечины  
Велел по ней возить.  
Ну, словом: спохватились мы,  
Как уж дорогу сделали,  
Что немец нас поймал!  
Поехал в город парочкой!  
Глядим, везет из города  
Коробки, тюфяки;  
Откудова ни взяли  
У немца босоногого  
Детишки и жена.  
Повел хлеб-соль с исправником  
И с прочей земской властью,  
Гостишек полон двор!

И тут настала каторга  
Корёжскому крестьянину —  
До нитки разорил!  
А драл... как сам Шалашников!  
Да тот был прост: накинется  
Со всей воинской силою,  
Подумаешь: убьет!

А деньги сунь — отвалится,  
Ни дать ни взять раздувшийся  
В собачьем ухе клеш.  
У немца — хватка мертвая:  
Пока не пустит по миру,  
Не отойдя сосет!»

«Как вы терпели, дедушка?»

«А потому терпели мы,  
Что мы — богатыри.  
В том богатырство русское.  
Ты думаешь, Матренушка,  
Мужик — не богатырь?  
И жизнь его не ратная,  
И смерть ему не писана  
В бою — а богатырь!

Цепями руки кручены,  
Железом ноги кованы,  
Спина... леса дремучие  
Прошли по ней — сломались.  
А грудь? Илья-пророк  
По ней гремит-катается<sup>1</sup>  
На колеснице огненной...  
Всё терпит богатырь!  
И гнется, да не ломится,  
Не ломится, не валится...  
Ужли не богатырь?»

«Ты шутишь шулки, дедушка! —  
Сказала я. — Такого-то  
Богатыря могучего,  
Чай, мыши заедят!»

«Не знаю я, Матренушка.  
Покамест тягу страшную  
Поднять-то поднял он,  
Да в землю сам ушел по грудь  
С натуги! По лицу его  
Не слезы — кровь течет!  
Не знаю, не придумаю,  
Что будет? Богу ведомо!  
А про себя скажу:

<sup>1</sup> ...Илья-пророк по ней гремит-катается... — По народному преданию, гром и молния происходят оттого, что Илья-пророк разъезжает по небу в огненной колеснице.

Как выли вьюги зимние,  
Как ныли кости старые,  
Лежал я на печи;  
Полеживал, подумывал:  
Куда ты, сила, делася?  
На что ты пригодилася? —  
Под розгами, под палками  
По мелочам ушла!»

«А что же немец, дедушка?»

«А немец как ни властвовал,  
Да наши топоры  
Лежали до поры!

Осьмнадцать лет терпели мы.  
Застроил немец фабрику,  
Велел колодец рыть.  
Вдвятером копали мы,  
До полдня проработали,  
Позавтракать хотим.  
Приходит немец: „Только-то?..“  
И начал нас по-своему,  
Не торопять, пилить.  
Стояли мы голодные,  
А немец нас поругивал  
Да в яму землю мокрую  
Пошвыривал ногой.  
Была уж яма добрая...  
Случилось, я легонечко  
Толкнул его плечом,  
Потом другой толкнул его,  
И третий... Мы посгрудились...  
До ямы два шага...

Мы слова не промолвили,  
Друг другу не глядели мы  
В глаза... а всей гурьбой  
Христьяна Христианыча  
Поталкивали бережно  
Всё к яме... всё на край...  
И немец в яму бухнулся,  
Кричит: „Веревку! лестницу!“  
Мы девятью лопатами  
Ответили ему.  
„Наддай!“ — я слово выронил,—  
Под слово люди русские  
Работают дружной.

„Наддай! наддай!" Так наддали,  
Что ямы словно не было —  
Сровнялася с землей!  
Тут мы переглянулись...»

Остановился дедушка.

«Что ж дальше?»

«Дальше — дрянь!

Кабак... острог в Буй-городе,  
Там я учился грамоте,  
Пока решили нас.  
Решенье вышло: каторга  
И плети предварительно;  
Не выдрали — помазали,  
Плохое там дрянье!  
Потом... бежал я с каторги...  
Поймали! не погладили  
И тут по голове.  
Заводские начальники<sup>1</sup>  
По всей Сибири славятся —  
Собаку съели драть.  
Да нас дирал Шалашников  
Больней — я не поморщился  
С заводского дрянья.  
Тот мастер был — умел пороть!  
Он так мне шкуру выделал,  
Что носится сто лет.

А жизнь была нелегкая.  
Лет двадцать строгой каторги,  
Лет двадцать поселения.  
Я денег прикопил,  
По манифесту царскому<sup>2</sup>  
Попал опять на родину,  
Пристроил эту горенку  
И здесь давно живу.  
Покуда были денежки,  
Любили деда, холили,  
Теперь в глаза плюют!  
Эх вы, Аники-воины!  
Со стариками, с бабами  
Вам только воевать...»

<sup>1</sup> *Заводские начальники...* — Часть осужденных на каторгу работала в Сибири на солеваренных, железоделательных заводах и находилась в бесконтрольном подчинении владельцев заводов.

<sup>2</sup> *...По манифесту царскому...* — манифест в связи с коронацией Александра II в 1856 г.

Тут кончил речь Савельюшка...

«Ну что ж? — сказали странники. —  
Досказывай, хозяйюшка,  
Свое житье-бытье!»

«Невесело досказывать.  
Одной беды бог миловал:  
Холерой умер Ситников, —  
Другая подошла».

«Наддай!» — сказали странники  
(Им слово полюбилося)  
И выпили винца...

## Глава IV

ДЕМУШКА

«Зажгло грозою дерево,  
А было соловьиное  
На дереве гнездо.  
Горит и стонет дерево,  
Горят и стонут птенчики:  
„Ой, матушка! где ты?  
А ты бы нас похолила,  
Пока не оперились мы:  
Как крылья отрастим,  
В долины, в рощи тихие  
Мы сами улетим!"  
Дотла сгорело дерево,  
Дотла сгорели птенчики,  
Тут прилетела мать.  
Ни дерева... ни гнездышка...  
Ни птенчиков!.. Поет-зовет...  
Поет, рыдает, кружится,  
Так быстро, быстро кружится,  
Что крылышки свистят!..  
Настала ночь, весь мир затих,  
Одна рыдала пташечка,  
Да мертвых не докликалась  
До белого утра!

Носила я Демидушку  
По поженкам... лелеяла..!  
Да взъелася свекровь,  
Как зыкнула, как рыкнула:  
„Оставь его у дедушки,



Не много с ним нажнешь!"  
Запугана, заругана,  
Перечить не посмела я,  
Оставила дитя.

Такая рожь богатая  
В тот год у нас родилася,  
Мы землю не лентяя  
Удобрали, ухостили, —  
Трудненько было пахарю,  
Да весело жнее!  
Снопамы нагружала я  
Телегу со стропилами  
И пела, молодцы.  
(Телега нагружается  
Всегда с веселой песнею,  
А сани с горькой думою:  
Телега хлеб домой везет,  
А сани — на базар!)  
Вдруг стоны я услышала:  
Ползком ползет Савелий-дед,  
Бледнешенек как смерть:  
„Прости, прости, Матренушка!  
И повалился в ноженьки. —  
Мой грех — недоглядел!..”

Ой, ласточка! ой, глупая!  
Не вей гнезда под берегом,  
Под берегом крутым!  
Что день — то прибавляется  
Вода в реке: зальет она  
Детеньшей твоих.  
Ой, бедная молодушка!  
Сноха в дому последняя,  
Последняя раба!  
Стерпи грозу великую,  
Прими побои лишние,  
А с глазу неразумного  
Младенца не спускай!..  
Заснул старик на солнышке,  
Скормил свиньям Демидушку  
Придурковатый дед!..  
Я клубышком каталася,  
Я червышком свивалася,  
Звала, будила Демушку —  
Да поздно было звать!..

Чу! конь стучит копытами,  
Чу, сбруя золоченая

Звенит... еще беда!  
Ребята испугались,  
По избам разбежались,  
У окон заметались  
Старухи, старики.  
Бежит деревней староста,  
Стучит в окошки палочкой,  
Бежит в поля, в луга.  
Собрал народ: идут — крехтят!  
Беда! Господь прогневался,  
Наслал гостей непрошенных,  
Неправедных судей!  
Знать, деньги издержались,  
Сапожки притоптались,  
Знать, голод разобрал!..

Молитвы Иисусовой  
Не сотворив, уселися  
У земского стола,  
Налой<sup>1</sup> и крест поставили,  
Привел наш поп, отец Иван,  
К присяге понятых.

Допрашивали дедушку,  
Потом за мной десятника  
Прислали. Становой  
По горнице похаживал,  
Как зверь в лесу порывивал...  
„Эй! женка! состояла ты  
С крестьянином Савелием  
В сожительстве? Винись!”  
Я шепотком ответила:  
„Обидно, барин, шутите!  
Жена я мужу честная,  
А старику Савелию  
Сто лет... Чай, знаешь сам”.  
Как в стойле конь подкованный,  
Затопал; о кленовый стол  
Ударил кулаком:  
„Молчать! Не по согласью ли  
С крестьянином Савелием  
Убила ты дитя?..”  
Владычица! что вздумали!  
Чуть мироеда этого  
Не назвала я нехристом,

*Налой (аналой)* — высокий церковный столик с наклонной верхней доской, на который клались евангелие, иконы, крест.

Вся закипела я...  
Да лекаря увидела:  
Ножи, ланцеты, ножицы  
Натачивал он тут.  
Вздрыгнула я, одумалась.  
„Нет, — говорю, — я Демушку  
Любила, берегла...“  
— „А зельем не поила ты?  
А мышьяку не сыпала?“  
— „Нет! сохрани господь!..“  
И тут я покорилась,  
Я в ноги поклонилась:  
„Будь жалостлив, будь добр!  
Вели без поругания  
Честному погребению  
Ребеночка предать!  
Я мать ему!..“ Упросишь ли?  
В груди у них нет душеньки,  
В глазах у них нет совести,  
На шее — нет креста!

Из тонкой из пеленочки  
Повыкатали Демушку  
И стали тело белое  
Терзать и пластовать.  
Тут свету я невзвидела,—  
Металась и кричала я:  
„Злодеи! палачи!..  
Падите мои слезоньки  
Не на землю, не на воду,  
Не на господень храм!  
Падите прямо на сердце  
Злодею моему!  
Ты дай же, боже господи!  
Чтоб тлен пришел на платьице,  
Безумье на головушку  
Злодея моего!  
Жену ему неумную  
Пошли, детей — юродивых!  
Прими, услыши, господи,  
Молитвы, слезы матери,  
Злодея накажи!..“  
— „Никак, она помешана? —  
Сказал начальник сотскому. —  
Что ж ты не упредил?  
Эй! не дури! связать велю!..“

Присела я на лавочку.  
Ослабла, вся дрожу.  
Дрожу, гляжу на лекаря:  
Рукавчики засучены,  
Грудь фартуком завешана,  
В одной руке — широкий нож,  
В другой ручник — и кровь на  
А на носу очки!  
Так тихо стало в горнице...  
Начальничек помалчивал,  
Поскрипывал пером,  
Поп трубочкой попыхивал,  
Не шелохнувшись, хмурые  
Стояли мужики.  
„Ножом в сердцах читаете“, —  
Сказал священник лекарю,  
Когда злодей у Демушки  
Сердечко распластал.  
Тут я опять рванулася...  
„Ну, так и есть — помешана!  
Связать ее!“ — десятнику  
Начальник закричал.  
Стал понятых опрашивать:  
„В крестьянке Тимофеевой  
И прежде помешательство  
Вы примечали?“

„Нет!“

Спросили свекра, деверя,  
Свекровушку, золовушку:

„Не примечали, нет!“

Спросили деда старого:  
„Не примечал! ровна была...  
Одно: к начальству кликнули,  
Пошла... а ни целковика,  
Ни новины<sup>1</sup>, пропащая,  
С собой и не взяла!“  
Заплакал навзрыд дедушка.  
Начальничек нахмурился,  
Ни слова не сказал.  
И тут я спохватилась!  
Прогневался бог: разуму  
Лишил! была готовая

— кусок домотканого полотна, холста.

В коробке новина!  
Да поздно было каяться.  
В моих глазах по косточкам  
Изрезал лекарь Демушку,  
Циновочкой прикрыл.  
Я словно деревянная  
Вдруг стала: загляделась я,  
Как лекарь руки мыл,  
Как водку пил. Священнику  
Сказал: „Прошу покорнейше!“  
А поп ему: „Что просите?  
Без прутика, без кнутика  
Все ходим, люди грешные,  
На этот водопой!“

Крестьяне настоялися,  
Крестьяне надрожалися.  
(Откуда только бралися  
У коршуна налетного  
Корыстные дела!)  
Без церкви намолилися,  
Без образа накланялись!  
Как вихорь налетел —  
Рвал бороды начальничек,  
Как лютый зверь наскакивал —  
Ломал перстни злаченные...  
Потом он кушать стал.  
Пил-ел, с попом беседовал,  
Я слышала, как шепотом  
Поп плакался ему:  
„У нас народ — все голь да пьянь,  
За свадебку, за исповедь  
Должают по годам.  
Несут гроши последние  
В кабак! А благочинному!<sup>1</sup>  
Одни грехи тащат!“  
Потом я песни слышала,  
Всё голоса знакомые,  
Девичьи голоса:  
Наташа, Глаша, Дарьюшка...  
Чу! пляска! чу! гармония!..  
И вдруг затихло всё...  
Заснула, видно, что ли, я?..  
Легко вдруг стало: чудилось,  
Что кто-то наклоняется

<sup>1</sup> *Благочинный* — священник, назначавшийся для административного управления несколькими церквями.

И шепчет надо мной:  
„Усни, многокручинная!  
Усни, многострадальная!“ —  
И крестит... С рук скатились  
Веревки... Я не помнила  
Потом уж ничего...

Очнулась я. Темно кругом,  
Гляжу в окно — глухая ночь!  
Да где же я? да что со мной?  
Не помню, хоть убей!  
Я выбралась на улицу —  
Пуста. На небо глянула —  
Ни месяца, ни звезд.  
Сплошная туча черная  
Висела над деревнею,  
Темны дома крестьянские,  
Одна пристройка дедова  
Сияла, как чертог.  
Вошла — и всё я вспомнила:  
Свечами воску ярого  
Обставлен, среди горенки  
Дубовый стол стоял,  
На нем гробочек крохотный  
Прикрыт камчатной скатертью<sup>1</sup>,  
Икона в головах...  
„Ой, плотнички-рабочники!  
Какой вы дом построили  
Сыночку моему?  
Окошки не прорублены,  
Стеколышки не вставлены,  
Ни печи, ни скамьи!  
Пуховой нет перинушки...  
Ой, жестко будет Демушке,  
Ой, страшно будет спать!..“

„Уйди!..“ — вдруг закричала я,  
Увидела я дедушку:  
В очках, с раскрытой книгою  
Стоял он перед гробиком,  
Над Демою читал.  
Я старика столетнего  
Звала клейменым, каторжным.  
Гневна, грозна, кричала я:  
„Уйди! убил ты Демушку!“

*Камчатная скатерть* — льняная скатерть с вытканными узорами и цветами.

Будь проклят ты... уйди!..."  
Старик ни с места. Крестится,  
Читает... Уходилась я,  
Тут дедко подошел:  
„Зимой тебе, Матренушка,  
Я жизнь свою рассказывал,  
Да рассказал не всё:  
Леса у нас угрюмые,  
Озера нелюдимые,  
Народ у нас дикарь.  
Суровы наши промыслы:  
Дави тетерю петлею,  
Медведя режь рогатиной,  
Сплошаешь — сам пропал!  
А господин Шалашников  
С своей воинской силою?  
А немец-душегуб?  
Потом острог да каторга...  
Окаменел я, внученька,  
Лютее зверя был.  
Сто лет зима бессменная  
Стояла. Растопил ее  
Твой Дема-богатырь!  
Однажды я качал его,  
Вдруг улыбнулся Демушка...  
И я ему в ответ!  
Со мною чудо случилось:  
Третьеводни прицелился  
Я в белку: на суку  
Качалась белка... лапочкой,  
Как кошка, умывалась...  
Не выпалил: живи!  
Брожу по рощам, по лугу,  
Любуюсь каждым цветиком.  
Иду домой, опять  
Смеюсь, играю с Демушкой...  
Бог видит, как я милого  
Младенца полюбил!  
И я же, по грехам моим,  
Сгубил дитя невинное...  
Кори, казни меня!  
А с богом спорить нечего.  
Стань! помолись за Демушку!  
Бог знает, что творит:  
Сладка ли жизнь крестьянина?  
И долго, долго дедушка  
О горькой воле пахаря  
С тоскою говорил...

Случись купшы московские,  
Вельможи государевы,  
Сам царь случись: не надо бы  
Ладнее говорить!

„Теперь в раю твой Демушка,  
Легко ему, светло ему...”

Заплакал старый дед.

„Я не ропщу, — сказала я, —  
Что бог прибрал младенчика,  
А больно то, зачем они  
Ругались над ним?  
Зачем, как черны вороны,  
На части тело белое  
Терзали?.. Неужли  
Ни бог, ни царь не вступится?..”

„Высоко бог, далеко царь...”

„Нужды нет: я дойду!”

„Ах! что ты? что ты, внученька?..  
Терпи, многокручинная!  
Терпи, многотрадальная!  
Нам правды не найти”.

„Да почему же, дедушка?”

„Ты — крепостная женщина!” —  
Савельюшка сказал.

Я долго, горько думала...  
Гром грянул, окна дрогнули,  
И я вздрогнула... К гробику  
Подвел меня старик:  
„Молись, чтоб к лику ангелов  
Господь причислил Демушку!”  
И дал мне в руки дедушка  
Горячую свечу.

Всю ночь до свету белого  
Молилась я, а дедушка  
Протяжным, ровным голосом  
Над Демою читал...



## Глава V

волчица

Уж двадцать лет, как Демущка  
Дерновым одеялечком  
Прикрыт, — всё жаль сердечного!  
Молюсь о нем, в рот яблока  
До Спаса не беру.<sup>1</sup>  
Не скоро я оправилась.  
Ни с кем не говорила я,  
А старика Савелия  
Я видеть не могла.  
Работать не работала.  
Надумал свекор-батюшка  
Вожжами поучить,  
Так я ему ответила:  
„Убей!“ Я в ноги кланялась:  
„Убей! один конец!“  
Повесил вожжи батюшка.  
На Деминой могилочке  
Я день и ночь жила.  
Платочком обметала я  
Могилку, чтобы травушкой  
Скорее поросла,  
Молилась за покойничка,  
Тужила по родителям:  
Забыли дочь свою!  
Собак моих боитесь?  
Семьи моей стыдитесь?  
„Ах, нет, родная, нет!  
Собак твоих не боязно,  
Семьи твоей не совестно,  
А ехать сорок верст  
Свои беды рассказывать,  
Твои беды выспрашивать —  
Жаль бурушку гонять!  
Давно бы мы приехали,  
Да ту мы думу думали:  
Приедем — ты расплачешься,  
Уедем — заревешь!“

Пришла зима: кручиною  
Я с мужем поделилася,  
В Савельевой пристрочке

<sup>1</sup> Поверье: если мать умершего младенца станет есть яблоки до Спаса (когда они поспевают), то бог, в наказание, не даст на том свете ее умершему младенцу «яблочка поиграть».

Тужили мы вдвоем.  
«Что ж, умер, что ли, дедушка?»

«Нет. Он в своей коморочке  
Шесть дней лежал безвыходно,  
Потом ушел в леса.  
Так пел, так плакал дедушка,  
Что лес стонал! А осенью  
Ушел на покаяние  
В Песочный монастырь.

У батюшки, у матушки  
С Филиппом побывала я,  
За дело принялась.  
Три года, как считаю я,  
Неделя за неделю,  
Одним порядком шли,  
Что год, то дети: некогда  
Ни думать, ни печалиться,  
Дай бог с работой справиться  
Да лоб перекрестить.  
Поешь — когда останется  
От старших да от деточек,  
Уснешь — когда больна...  
А на четвертый новое  
Подкралось горе лютое, —  
К кому оно привяжется,  
До смерти не избыть!

Впереди летит — ясным соколом,  
Позади летит — черным вороном,  
Впереди летит — не укатится,  
Позади летит — не останется...

Лишилась я родителей...  
Слыхали ночи темные,  
Слыхали ветры буйные  
Сиротскую печаль,  
А вам нет нужды сказывать...  
На Демину могилочку  
Поплакать я пошла.

Гляжу: могилка прибрана,  
На деревянном крестике  
Складная золоченая  
Икона. Перед ней  
Я старца распростертого  
Увидела. „Савельюшка!

Откуда ты взялся?"  
„Пришел я из Песчаного...  
Молюсь за Дему бедного,  
За всё страдное русское  
Крестьянство я молюсь!  
Еще молюсь (не образу  
Теперь Савелий кланялся),  
Чтоб сердце гневной матери  
Смягчил господь... Прости!"

„Давно простила, дедушка!"

Вздыхнул Савелий... „Внученька!  
А внученька!" — „Что, дедушка?"  
— „По-прежнему взгляни!"

Взглянула я по-прежнему.  
Савельюшка засматривал  
Мне в очи; спину старую  
Пытался разогнуть.  
Совсем стал белый дедушка.  
Я обняла старинушку,  
И долго у креста  
Сидели мы и плакали.  
Я деду горе новое  
Поведала свое...

Недолго прожил дедушка.  
По осени у старого  
Какая-то глубокая  
На шее рана сделалась,  
Он трудно умирал:  
Сто дней не ел; хирел да сох,  
Сам над собой подтрунивал:  
„Не правда ли, Матренушка,  
На комара корёжского  
Костлявый я похож?"  
То добрый был, сговорчивый,  
То злился, привередничал,  
Пугал нас: „Не паши,  
Не сей, крестьянин! Сгорбившись  
За пряжей, за полотнами,  
Крестьянка, не сиди!  
Как вы ни бейтесь, глупые,  
Что на роду написано,  
Того не миновать!  
Мужчинам три дороженьки:  
Кабак, острог да каторга,

А бабам на Руси  
Три петли: шелку белого,  
Вторая — шелку красного,  
А третья — шелку черного,  
Любую выбирай!..  
В любую полезай..."  
Так засмеялся дедушка,  
Что все в коморке вздрогнули, —  
И к ночи умер он.  
Как приказал — исполнили:  
Зарыли рядом с Демою...  
Он жил сто семь годов.

Четыре года тихие,  
Как близнецы похожие,  
Прошли потом... Всему  
Я покорилась: первая  
С постели Тимофеевна,  
Последняя — в постель;  
За всех, про всех работаю, —  
С свекрови, с свекра пьяного,  
С золовочки бракованной<sup>1</sup>  
Снимаю сапоги...  
Лишь деточек не трогайте!  
За них горой стояла я...  
Случилось, молодцы,  
Зашла к нам богомолочка;  
Сладкоречивой странницы  
Заслушивались мы;  
Спасаться, жить по-божески  
Учила нас угодница,  
По праздникам к заутрени  
Будила... а потом  
Потребовала странница,  
Чтоб грудью не кормили мы  
Детей по постным дням.  
Село переполошилось!  
Голодные младенчики  
По середам, по пятницам  
Кричат! Иная мать  
Сама над сыном плачущим  
Слезами заливается:  
И бога-то ей боязно,  
И дитятка-то жаль!

<sup>1</sup> Если младшая сестра выйдет замуж ранее старшей, то последняя называется бракованной.

Я только не послушалась,  
Судила я по-своему:  
Коли терпеть, так матери,  
Я перед богом грешница,  
А не дитя мое!

Да, видно, бог прогневался.  
Как восемь лет исполнилось  
Сыночку моему,  
В подпаски свекор сдал его.  
Однажды жду Федотушку —  
Скотина уж пригналася, —  
На улицу иду.  
Там видимо-невидимо  
Народу! Я прислушалась  
И бросилась в толпу.  
Гляжу, Федота бледного  
Силантий держит за ухо.  
„Что держишь ты его?“  
— „Посечь хотим маненичко:  
Овечками прикармливать  
Надумал он волков!“  
Я вырвала Федотушку,  
Да с ног Силантья-старосту  
И сбила невзначай.

Случилось дело дивное:  
Пастух ушел; Федотушка  
При стаде был один.  
„Сижу я, — так рассказывал  
Сынок мой, — на пригорочке,  
Откуда ни возьмись  
Волчица преогромная  
И хватъ овечку Марьину!  
Пустился я за ней,  
Кричу, кнутищем хлопаю,  
Свищу, Валетку уськаю...  
Я бегать молодец,  
Да где бы окаянную  
Нагнать, кабы не щённая:  
У ней сосцы волочились,  
Кровавым следом, матушка,  
За нею я гнался!

Пошла потише серая,  
Идет, идет — оглянется,  
А я как припушу!  
И села... Я кнутом ее:

«Отдай овцу, проклятая!»  
Не отдает, сидит...  
Я не сробел: «Так вырву же,  
Хоть умереть!..» И бросился,  
И вырвал... Ничего —  
Не укусила серая!  
Сама едва живехонька,  
Зубами только шелкает  
Да дышит тяжело.  
Под ней река кровавая,  
Сосцы травой изрезаны,  
Все ребра на счету,  
Глядит, поднявши голову,  
Мне в очи... и завывла вдруг!  
Завывла, как заплакала.  
Пощупал я овцу:  
Овца была уж мертвая...  
Волчица так ли жалобно  
Глядела, выла... Матушка!  
Я бросил ей овцу!.."

Так вот что с парнем случилось.  
Пришел в село да, глупенький,  
Всё сам и рассказал,  
За то и сечь надумали.  
Да благо подоспела я...  
Силантий осерчал,  
Кричит: „Чего толкаешься?  
Самой под розги хочется?"  
А Марья, та свое:  
„Дай, пусть проучат глупого!"  
И рвет из рук Федотушку,  
Федот как лист дрожит.

Трубят рога охотничьи,  
Помещик возвращается  
С охоты. Я к нему:  
„Не выдай! Будь заступником!"  
— „В чем дело?" Кликнул старосту  
И мигом порешил:  
„Подпaska малолетнего  
По младости, по глупости  
Простить... а бабу дерзкую  
Примерно наказать!"

„Ай, барин!" Я подпрыгнула:  
„Освободил Федотушку!  
Иди домой, Федот!"

„Исполним поведенное! —  
Сказал мирянам староста.—  
Эй, погоди плясать!”

Соседка тут подсунулась:  
„А ты бы в ноги старосте...”

„Иди домой, Федот!”

Я мальчика погладила:  
„Смотри, коли оглянешься,  
Я осержусь... Иди!”

Из песни слово выкинуть,  
Так песня вся нарушится.  
Легла я, молодцы...

В Федотову коморочку,  
Как кошка, я прокралася:  
Спит мальчик, бредит, мечется;  
Одна ручонка свесилась,  
Другая на глазу  
Лежит, в кулак зажатая:  
„Ты плакал, что ли, бедненький?  
Спи. Ничего. Я тут!”  
Тужила я по Демушке,  
Как им была беременна,—  
Слабенец родился,  
Однако вышел умница:  
На фабрике Алферова  
Трубу такую вывели  
С родителем, что страсть!  
Всю ночь над ним сидела я,  
Я пастушка любезного  
До солнца подняла,  
Сама обула в лапотки,  
Перекрестила; шапочку,  
Рожок и кнут дала.  
Проснулась вся семейюшка,  
Да я не показалась ей,  
На пожню не пошла.

Я пошла на речку быструю,  
Избрала я место тихое  
У ракитова куста.  
Села я на серый камушек,

Подперла рукой головушку,  
Зарыдала, сирота!  
Громко я звала родителя:  
Ты приди, заступник батюшка!  
Посмотри на дочь любимую...  
Понапрасну я звала.  
Нет великой оборонушки!  
Рано гостя бесподсудная,  
Бесплеменная, безродная,  
Смерть родного унесла!

Громко кликала я матушку.  
Отзывались ветры буйные,  
Откликались горы дальние,  
А родная не пришла!  
День денна моя печальница,  
В ночь — ночная богомолица!  
Никогда тебя, желанная,  
Не увижу я теперь!  
Ты ушла в бесповоротную,  
Незнакомую дороженьку,  
Куда ветер не доносится,  
Не дорыскивает зверь...

Нет великой оборонушки!  
Кабы знали вы да ведали,  
На кого вы дочь покинули,  
Что без вас я выношу?  
Ночь — слезами обливаюся,  
День — как травка пристилаюся...  
Я потупленную голову,  
Сердце гневное ношу!..

## Глава VI

трудный год

В тот год необычайная  
Звезда играла на небе;  
Одни судили так:  
Господь по небу шествует,  
И ангелы его  
Метут метлою огненной<sup>1</sup>  
Перед стопами божьими  
В небесном поле путь;

*огненная* — комета.



Другие то же думали,  
Да только на антихриста,  
И чуяли беду.  
Сбылось: пришла бесхлебица!  
Брат брату не уламывал  
Куска! Был страшный год...  
Волчицу ту Федотову  
Я вспомнила — голодную,  
Похожа с ребятишками  
Я на нее была!  
Да тут еще свекровушка  
Приметой прислужилась,  
Соседкам наплела,  
Что я беду накликала,  
А чем? *Рубаху чистую  
Надела в Рождество*<sup>1</sup>.  
За мужем, за заступником,  
Я дешево отделалась;  
А женщину одну  
Никак за то же самое  
Убили насмерть кольями.  
С голодным не шути...

Одной бедой не кончилось:  
Чуть справились с бесхлебицей —  
Рекрутчина пришла.  
Да я не беспокоилась:  
Уж за семью Филиппову  
В солдаты брат ушел.  
Сижу одна, работаю,  
И муж и оба деверя  
Уехали с утра;  
На сходку свекор-батюшка  
Отправился, а женщины  
К соседкам разбрелись.  
Мне крепко нездоровилось,  
Была я Лиодорушкой  
Беременна: последние  
Дохаживала дни.  
Управившись с ребятами,  
В большой избе под шубою  
На печку я легла.  
Вернулись бабы к вечеру,  
Нет только свекра-батюшки,  
Ждут ужинать его.

( Н',л:'-';|БВ t'iitr- НЦ !'

Примета: не надевай чистую рубаху в Рождество, не то жди неурожая.  
(Есть у Даля.)

Пришел: „Ох-ох! умаялся,  
А дело не поправилось,  
Пропали мы, жена!  
Где видано, где слыхано:  
Давно ли взяли старшего,  
Теперь меньшого дай!  
Я по годам высчитывал,  
Я миру в ноги кланялся,  
Да мир у нас какой?  
Просил бурмистра: божится,  
Что жаль, да делать нечего!  
И писаря просил,  
Да правды из мошенника  
И топором не вырубись,  
Что тени из стены!  
Задарен... все задарены...  
Сказать бы губернатору,  
Так он бы задал им!  
Всего и попросить-то бы,  
Чтоб он по нашей волости  
Очередные росписи  
Проверить повелел.  
Да сунься-ка!.." Заплакали  
Свекровушка, золовушка,  
А я... То было холодно,  
Теперь огнем горю!  
Горю... Бог весть что думаю...  
Не дума... бред... Голодные  
Стоят сиротки-деточки  
Передо мной... Неласково  
Глядит на них семья,  
Они в дому шумливые,  
На улице драчливые,  
Обжоры за столом...  
И стали их пощипывать,  
В головку поколачивать...  
Молчи, солдатка-мать!

Теперь уж я не дольщица  
Участку деревенскому,  
Хоромному строеньицу,  
Одеже и скоту.  
Теперь одно богатство:  
Три озера наплакано  
Горючих слез, засеяно  
Три полосы бедой!

Теперь, как виноватая,  
Стою перед соседями:  
Простите! я была  
Спесива, непоклончива,  
Не чаяла я, глупая,  
Остаться сиротой...  
Простите, люди добрые,  
Учите уму-разуму,  
Как жить самой? Как деточек  
Поить, кормить, растить?..

Послала деток по миру:  
Просите, детки, ласкою,  
Не смейте воровать!  
А дети в слезы: „Холодно!  
На нас одежда рваная,  
С крылечка на крылечко-то  
Устанем мы ступать,  
Под окнами натопчемся,  
Изябнем... У богатого  
Нам боязно просить,  
„Бог даст!“ — ответят бедные...  
Ни с чем домой воротимся —  
Ты станешь нас бранить!..”

Собрала ужин; матушку  
Зову, золовок, деверя,  
Сама стою голодная  
У двери, как раба.  
Свекровь кричит: „Лукавая!  
В постель скорей торопиться?“  
А деверь говорит:  
„Не много ты работала!  
Весь день за деревиночкой  
Стояла: дожидалась,  
Как солнышко зайдет!“

Получше нарядилась я,  
Пошла я в церковь божию,  
Смех слышу за собой!

Хорошо не одевайся,  
До бела не умывайся,  
У соседок очи зорки,  
Востры языки!  
Ходи улицей потише,  
Носи голову пониже,

Коли весело — не смейся,  
Не поплачь с тоски!..

Пришла зима бессменная,  
Поля, луга зеленые  
Попрятались под снег.  
На белом, снежном саване  
Ни талой нет талиночки —  
Нет у солдатки-матери  
Во всем миру дружка!  
С кем думушку подумати?  
С кем словом перемолвиться?  
Как справиться с убожеством?  
Куда обиду сбить?  
В леса — леса повяли бы,  
В луга — луга сгорели бы!  
Во быструю реку?  
Вода бы остоялася!  
Носи, солдатка бедная,  
С собой ее по гроб!

Нет мужа, нет заступника!  
Чу, барабан! Солдатики  
Идут... Остановились...  
Построились в ряды.  
„Живей!" Филиппа вывели  
На середину площади:  
„Эй, перемена первая!" —  
Шалашников кричит.  
Упал Филипп: „Помилуйте!"  
— „А ты попробуй! слюбится!  
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!  
Укрепа богатырская,  
Не розги у меня!.."

И тут я с печи спрыгнула,  
Обулась. Долго слушала, —  
Всё тихо, спит семья!  
Чуть-чуть я дверью скрипнула  
И вышла. Ночь морозная...  
Из Домниной избы,  
Где парни деревенские  
И девки собирались,  
Гремела песня складная,  
Любимая моя...

На горе стоит елочка,  
Под горою светелочка,

Во светелочке Машенька.  
Приходил к ней батюшка,  
Будил ее, побуживал:  
Ты, Машенька, пойдем домой!  
Ты, Ефимовна, пойдем домой!  
Я нейду и не слушаю:  
Ночь темна и немесячна,  
Реки быстры, перевозов нет,  
Леса темны, караулов нет...

На горе стоит елочка,  
Под горою светелочка,  
Во светелочке Машенька.  
Приходила к ней матушка,  
Будила, побуживала:  
Машенька, пойдем домой!  
Ефимовна, пойдем домой!

Я нейду и не слушаю:  
Ночь темна и немесячна,  
Реки быстры, перевозов нет,  
Леса темны, караулов нет...

На горе стоит елочка,  
Под горою светелочка,  
Во светелочке Машенька.  
Приходил к ней Петр,  
Петр сударь Петрович,  
Будил ее, побуживал:  
Машенька, пойдем домой!  
Душа Ефимовна, пойдем домой!

Я иду, сударь, и слушаю:  
Ночь светла и месячна,  
Реки тихи, перевозки есть,  
Леса темны, караулы есть.

## Глава VII

### ГУБЕРНАТОРША

Почти бегом бежала я  
Через деревню, — чудилось,  
Что с песней парни гонятся  
И девицы за мной,  
За Клином огляделась я:  
Равнина белоснежная,  
Да небо с ясным месяцем,

Да я, да тень моя...  
Не жутко и не боязно  
Вдруг стало, — словно радостью  
Так и взмывало грудь...  
Спасибо ветру зимнему!  
Он, как водой студеною,  
Больную напоил:  
Обвеял буйну голову,  
Рассеял думы черные,  
Рассудок воротил.  
Упала на колени я:  
„Открой мне, мать божия,  
Чем бога прогневила я?  
Владычица! во мне  
Нет косточки неломаной,  
Нет жилочки нетянутой,  
Кровинки нет непорченной, —  
Терплю и не ропщу!  
Всю силу, богом данную,  
В работу полагаю я,  
Всю в деточек любовь!  
Ты видишь всё, владычица,  
Ты можешь всё, заступница,  
Спаси рабу свою!..”

Молиться в ночь морозную  
Под звездным небом Божиим  
Люблю я с той поры.  
Беда пристигнет — вспомните  
И женам посоветуйте:  
Усердней не помолишься  
Нигде и никогда.  
Чем больше я молилася,  
Тем легче становилось,  
И силы прибавлялось,  
Чем чаще я касалась  
До белой, снежной скатерти  
Горячей головой...

Потом — в дорогу тронулась,  
Знакомая дороженька!  
Езжала я по ней.  
Поедешь ранним вечером,  
Так утром вместе с солнышком  
Поспеешь на базар.  
Всю ночь я шла, не встретила  
Живой души, под городом  
Обозы начались.

Высокие, высокие  
Возы сенца крестьянского,  
Жалела я коней:  
Свои кормы законные  
Везут с двора, сердечные,  
Чтоб после голодать.  
И так-то всё, я думала:  
Рабочий конь солому ест,  
А пустопляс — овес!  
Нужда с кулем тащилася, —  
Мучица, чай, не лишняя,  
Да подати не ждут!  
С посада подгородного  
Торговцы-колотырники<sup>1</sup>  
Бежали к мужикам;  
Божба, обман, ругательство!

Ударили к заутрени,  
Как в город я вошла.  
Ищу соборной площади,  
Я знала: губернаторский  
Дворец на площади.  
Темна, пуста площадочка,  
Перед дворцом начальника  
Шагает часовой.

„Скажи, служивый, рано ли  
Начальник просыпается?“  
— „Не знаю; Ты иди!  
Нам говорить не велено!  
(Дала ему двугривенный):  
На то у губернатора  
Особый есть швейцар“.  
— „А где он? как назвать его?“  
— „Макаром Федосеичем...  
На лестницу поди!“  
Пошла, да двери заперты.  
Присела я, задумалась,  
Уж начало светать.  
Пришел фонарщик с лестницей,  
Два тусклые фонарика  
На площади задул.

„Эй, что ты тут расселася?“

<sup>1</sup> *Торговцы-колотырники* — барышники, перекупщики, наживаются за счет бедных крестьян.

Вскочила, испугалась я:  
В дверях стоял в халатике  
Плешивый человек.  
Скоренько я целковенький  
Макару Федосеичу  
С поклоном подала:

„Такая есть великая  
Нужда до губернатора,  
Хоть умереть — дойти!-“  
„Пускать-то вас не велено,  
Да... ничего!., толкнись-ка ты  
Так... через два часа...“

Ушла. Бреду тихохонько...  
Стоит из меди кованный,  
Точь-в-точь Савелий дедушка,  
Мужик на площади.  
„Чей памятник?“ — „Сусанина“<sup>1</sup>.  
Я перед ним помешкала,  
На рынок побрела.  
Там крепко испугалась я,  
Чего? Вы не поверите,  
Коли сказать теперь:  
У поваренка вырвался  
Матёрый серый селезень,  
Стал парень догонять его,  
А он как закричит!  
Такой был крик, что за душу  
Хватил — чуть не упала я,  
Так под ножом кричат!  
Поймали! шею вытянул  
И зашипел с угрозою,  
Как будто думал повара,  
Бедняга, испугать.  
Я прочь бежала, думала:  
Утихнет серый селезень  
Под поварским ножом!

Теперь дворец начальника  
С балконом, с башней, с лестницей,  
Ковром богатым усланной,  
Весь стал передо мной.  
На окна поглядела я:  
Завешаны. „В котором-то

<sup>1</sup> «Чей памятник?» — «Сусанина»... — Памятник Ивану Сусанину, открыт в Костроме в 1851 г.



Твоя опочиваленка?  
Ты сладко ль спишь, желанный мой,  
Какие видишь сны?.."

Сторонкой, не по коврику,  
Прокралась я в швейцарскую.  
„Раненько ты, кума!"

Опять я испугалась,  
Макара Федосеича  
Я не узнала: выбрился,  
Надел ливрею шитую,

Взял в руки булаву,  
Как не бывало лысины.  
Смеется: „Что ты вздрогнула?"  
— „Устала я, родной!"

„А ты не трусь! Бог милостив!  
Ты дай еще целковенький,  
Увидишь — удружу!"

Дала еще целковенькой.  
„Пойдем в мою каморочку,  
Попьешь пока чайку!"

Каморочка под лестницей:  
Кровать да печь железная,  
Шандал<sup>1</sup> да самовар.  
В углу лампадка теплится,  
А по стене картиночки.  
„Вот он! — сказал Макар. —  
Его превосходительство!"  
И щелкнул пальцем бравого  
Военного в звездах.

„Да добрый ли?" — спросила я.

„Как стих найдет! Сегодня вот  
Я тоже добр, а временем —  
Как пес, бываю зол".

„Скучаешь видно, дяденька?"  
— „Нет, тут статья особая,  
Не скука тут — война!  
И Сам, и люди вечером

<sup>1</sup> Шандал — подсвечник.

Уйдут, а к Федосеичу  
В каморку враг: поборемся!  
Борюсь я десять лет.  
Как выпьешь рюмку лишнюю,  
Махорки как накуришься,  
Как эта печь накалится  
Да свечка нагорит —  
Так тут устой..."

Я вспомнила  
Про богатрство дедово:  
„Ты, дядюшка, — сказала я, —  
Должно быть, богатырь".  
„Не богатырь я, милая,  
А силой тот не хвастайся,  
Кто сна не поборол!"

В каморку постучались,  
Макар ушел... Сидела я,  
Ждала, ждала, соскучилась,  
Приотворила дверь.  
К крыльцу карету подали.  
„Сам едет?" — „Губернаторша!  
Ответил мне Макар  
И бросился на лестницу.  
По лестнице спускалася  
В собольей шубе барыня,  
Чиновничек при ней.

Не знала я, что делала  
(Да, видно, надоумила  
Владычица!..) Как брошусь я  
Ей в ноги: „Заступись!  
Обманом, не по-божески  
Кормильца и родителя  
У деточек берут!"

„Откуда ты, голубушка?"  
Впопад ли я ответила —  
Не знаю... Мука смертная  
Под сердце подошла...

Очнулася я, молодчики,  
В богатой, светлой горнице,  
Под пологом лежу;  
Против меня — кормилица,  
Нарядная, в кокошнике,

С ребеночком сидит.  
„Чье дитяtko, красавица?“  
— „Твое!“ Поцеловала я  
Рожoное дитя...

Как в ноги губернаторше  
Я пала, как заплакала,  
Как стала говорить,  
Сказалась усталъ долгая,  
Истома непомерная,  
Упередилось времечко —  
Пришла моя пора!  
Спасибо губернаторше,  
Елене Александровне,  
Я столько благодарна ей,  
Как матери родной!  
Сама крестила мальчика  
И имя: Лиодорушка —  
Младенцу избрала...»

«А что же с мужем сталося?»

«Послали в Клин нарочного,  
Всю истину довели, —  
Филиппушку спасли.  
Елена Александровна  
Ко мне его, голубчика,  
Сама — дай бог ей счастье! —  
За ручку подвела.  
Добра была, умна была,  
Красивая, здоровая,  
А деток не дал бог!  
Пока у ней гостила я,  
Всё время с Лиодорушкой  
Носилась, как с родным.

Весна уж начиналася,  
Березка распускалася,  
Как мы домой пошли...

Хорошо, светло  
В мире божием!  
Хорошо, легко,  
Ясно на сердце.

Мы идем, идем —  
Остановимся,  
На леса, луга

Полюбujemy,  
Полюбujemy  
Да послушаем,  
Как шумят-бегут  
Воды вешние,  
Как поет-звонит  
Жавороночек!  
Мы стоим, глядим...  
Очи встретятся —  
Усмехнемся мы,  
Усмехнется нам  
Лиодорушка.

А увидим мы  
Старца нищего —  
Подадим ему  
Мы копеечку:  
„Не за нас молись, —  
Скажем старому, —  
Ты молись, старик,  
За Еленушку,  
За красавицу  
Александровну!"

А увидим мы  
Церковь Божию —  
Перед церковью  
Долго крестимся:  
„Дай ей, господи,  
Радость-счастье,  
Доброй душевненьке  
Александровне!"

Зеленеет лес,  
Зеленеет луг,  
Где низиночка —  
Там и зеркало!  
Хорошо, светло  
В мире божием,  
Хорошо, легко,  
Ясно на сердце.  
По водам плыву  
Белым лебедем,  
По степям бегу  
Перепелочкой.

Прилетела в дом  
Сизым голубем...

Поклонился мне  
Свекор-батюшка,  
Поклонилася  
Мать-свекровушка,  
Деверья, зятя  
Поклонились,  
Поклонились,  
Повинились!  
Вы садитесь-ка,  
Вы не кланяйтесь,  
Вы послушайте,  
Что скажу я вам:  
Тому кланяться,  
**Кто** сильней меня, —  
Кто добрей меня,  
Тому славу петь.  
Кому славу петь?  
Губернаторше!  
Доброй душеньке  
Александровне!»

## Глава VIII

### БАБЬЯ ПРИТЧА

Замолкла Тимофеевна.  
Конечно, наши странники  
Не пропустили случая  
За здравье губернаторши  
По чарке осушить.  
И, видя, что хозяйюшка  
Ко стогу приклонилася,  
К ней подошли гуськом:  
«Что ж дальше?»

— «Сами знаете:

Ославили счастливицей,  
Прозвали губернаторшей  
Матрену с той поры...  
Что дальше? Домом правлю я,  
Рошу детей... На радость **ли?**  
Вам тоже надо знать.  
Пять сыновей! Крестьянские  
Порядки нескончаемы, —  
Уж взяли одного!»

Красивыми ресницами  
Моргнула Тимофеевна,  
Поспешно приклонилася

Ко стогу головой.  
Крестьяне мялись, мешкали,  
Шептались. «Ну, хозяйюшка!  
Что скажешь нам еще?»

«А то, что вы затеяли  
Не дело — между бабами  
Счастливую искать!..»

«Да всё ли рассказала ты?»

«Чего же вам еще?  
Не то ли вам рассказывать,  
Что дважды погорели мы,  
Что бог сибирской язвою  
Нас трижды посетил?  
Потуги лошадиные  
Несли мы; погуляла я,  
Как мери^ в бороне!..

Ногами я не топтана,  
Веревками не вязана,  
Иголками не колота...  
Чего же вам еще?  
Сулилась душу выложить,  
Да, видно, не сумела я, —  
Простите, молодцы!  
Не горы с места сдвинулись,  
Упали на головушку,  
Не бог стрелой громовой  
Во гневе грудь пронзил,  
По мне — тиха, невидима —  
Прошла гроза душевная,  
Покажешь ли ее?  
По матери поруганной,  
Как по змее растоптанной,  
Кровь первенца прошла,  
По мне обиды смертные  
Прошли неотплачённые,  
И плеть по мне прошла!  
Я только не отведала —  
Спасибо! умер Ситников —  
Стыда неискупимого,  
Последнего стыда!  
А вы — за счастьем сунулись!  
Обидно, молодцы!  
Идите вы к чиновнику,  
К вельможному боярину,

Идите вы к царю,  
А женщин вы не трогайте, —  
Вот бог! ни с чем проходите  
До гробовой доски!  
К нам на ночь попросилась  
Одна старушка божия:  
Вся жизнь убогой старицы —  
Убийство плоти, пост;  
У гроба Иисусова  
Молилась, на Афонские  
Всходила высоты,  
В Иордань-реке купалась<sup>1</sup>...  
И та святая старица  
Рассказывала мне:  
„Ключи от счастья женского,  
От нашей вольной волюшки  
Заброшены, потеряны  
У бога самого!  
Отцы-пустынножители,  
И жены непорочные,  
И книжники-начетчики  
Их ищут — не найдут!  
Пропали! думать надобно,  
Сглонула рыба их...  
В веригах, изможденные,  
Голодные, холодные,  
Прошли господни ратники  
Пустыни, города, —  
И у волхвов выпрашивать,  
И по звездам высчитывать  
Пытались — нет ключей!  
Весь божий мир извели,  
В горах, в подземных пропастях  
Искали... Наконец  
Нашли ключи сподвижники!  
Ключи неоценимые,  
А всё — не те ключи!  
Пришлись они — великое  
Избранным людям Божиим  
То было торжество —  
Пришлись к рабам-невольникам:  
Темницы растворились,  
По миру вздох прошел,  
Такой ли громкий, радостный!..

<sup>1</sup> ...У гроба Иисусова молилась, на Афонские всходила высоты, в Иордань-реке купалась... — Места религиозного паломничества христиан в Грецию и Палестину.

А к нашей женской волюшке  
Всё нет и нет ключей!  
Великие сподвижники  
И по сей день стараются —  
На дно морей спускаются,  
Под небо поднимаются, —  
Всё нет и нет ключей!  
Да вряд они и сыщутся...  
Какою рыбой сглонуты  
Ключи те заповедные,  
В каких морях та рыба  
Гуляет — бог забыл!.."»

1873



**Иван  
Саввич  
НИКИТИН**

*(1824—1861)*



**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА И. С. НИКИТИНА**

- 1824, 12 ноября (3 декабря) — родился в городе Воронеже.
- 1833—1839 — Иван Никитин учится в Воронежском духовном училище.
- 1839—1843 — годы учебы в Воронежской духовной семинарии. Начало поэтического творчества, увлечение поэзией своего земляка А. В. Кольцова.
- 1851—первая публикация поэта. На страницах газеты «Воронежские губернские ведомости» напечатано стихотворение «Русь».
- 1854—подборка стихотворений И. С. Никитина опубликована в журнале «Отечественные записки».
- 1856—выход в свет первой книги стихотворений.
- 1859—опубликован второй сборник стихотворений И. С. Никитина, одобрительно встреченный литературной критикой.
- 1861—в сборнике «Воронежская беседа на 1861 год» опубликованы поэма «Тарас» и повесть «Дневник семинариста».
- 1861, 16(28) октября — Иван Саввич Никитин скончался в городе Воронеже.

\* \* \*

Медленно движется время,—  
Веруй, надейся и жди...  
Зрей, наше юное племя!  
Путь твой широк впереди.  
Молнии нас осветили,  
Мы на распутье стоим...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Сеялось семя веками,—  
Корни в земле глубоко;  
Срубишь леса топорами,—  
Зло вырывать не легко:  
Нам его в детстве привили,  
Деды сроднились с ним...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Стыд, кто бессмысленно тужит,  
Листья зашепчут — он нем!  
Слава, кто истине служит,  
Истине жертвует всем!  
Поздно глаза мы открыли,  
Дружно на труд поспешим...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

Рыхлая почва готова,  
Сейте, покуда весна:  
Доброго дела и слова  
Не пропадут семена.  
Где мы и как их добыли —  
Внукам отчет отдадим...  
Мертвые в мире почили,  
Дело настало живым.

1857

## РАЗГОВОРЫ

Новой жизни заря —  
И тепло и светло:  
О добре говорим,  
Негодуем на зло.

За родимый наш край  
Наше сердце болит;  
За прожитые дни  
Мучит совесть и стыд.

**Что** нам цвесь не дает,  
Держит рост молодой,—  
Так и сбросил бы с плеч  
Этот хлам вековой!

Где ж вы, слуги добра?  
Выходите вперед!  
Подавайте пример!  
Поучайте народ!

Наш разумный порыв,  
Нашу честную речь  
Надо в кровь претворить,  
Надо плотью облечь.

**Как** поверить словам —  
По часам мы растем!  
Закричат: «Помоги!» —  
Через пропасть шагнем!

В нас душа горяча,  
Наша воля крепка,  
И печаль за других —  
Глубока, глубока!..

А приходит пора  
Добрый подвиг начать,  
**Так** нам жаль с головы  
Волосок потерять:

Тут раздумье и лень,  
**Тут** нас робость возьмет...  
А слова... на словах  
Соколиный полет!..

## ДЕДУШКА

Лысый, с белой бородою,  
Дедушка сидит.  
Чашка с хлебом и водою  
Перед ним стоит.

Бел как лунь, на лбу морщины,  
С испытаным лицом.  
Много видел он кручины  
На веку своем.

Все прошло; пропала сила,  
Притупился взгляд;  
Смерть в могилу уложила  
Деток и внучат.

С ним в избушке закоптелой  
Кот один живет.  
Стар и он, и спит день целый,  
С печки не спрыгнет.

Старику не много надо:  
Лапти сплесть да сбыть —  
Вот и сыт. Его отрада —  
В Божий храм ходить.

К стенке, около порога,  
Станет там, кряхтя,  
И за скорби славит Бога,  
Божие дитя.

Рад он жить, не прочь в могилу,—  
В темный уголок...  
Где ты черпал эту силу,  
Бедный мужичок?

*1857—1858*

## НОЧЛЕГ В ДЕРЕВНЕ

Душный воздух, дым лучины,  
Под ногами сор,  
Сор на лавках, паутины  
По углам узор;  
Закоптелые полаты,  
Черствый хлеб, вода,

Кашель пряжи, плач дитяти...  
О нужда, нужда!  
Мыкать горе, век трудиться.  
Нищим умереть...  
Вот где нужно бы учиться  
Верить и терпеть!

1857—1858

### ПЕСНЯ БОБЫЛЯ

Ни кола, ни двора,  
Зипун — весь пожиток...  
Эх, живи — не тужи,  
Умрешь — не убыток!

Богачу-дураку  
И с казной не спится;  
Бобыль гол, как сокол,  
Поет-веселится.

Он идет да поет,  
Ветер подпевает;  
Сторонись, богачи!  
Беднота гуляет!

Рожь стоит по бокам,  
Отдает поклоны...  
Эх, присвистни, бобыль!  
Слушай, лес зеленый!

Уж ты плачь ли, не плачь,—  
Слез никто не видит.  
Оробей, загорюй,—  
Курица обидит.

Уж ты сыт ли, не сыт,—  
В печаль не вдавайся;  
Причешись, распахнись,  
Шути-улыбайся!

Поживем да умрем,—  
Будет голь пригрета...  
Разумей, кто умен,—  
Песенка допета!

1858

С суровой долею я рано подружился:  
Не знал веселых дней, веселых игр не знал,  
Мечтами детскими ни с кем я не делился,  
Ни от кого речей разумных не слышал.

Но все, что грязного есть в жизни самой бедной,—  
И горе, и разгул, кровавый пот трудов,  
Порок и плач нужды, оборванной и бледной,  
Я видел вкруг себя с младенческих годов.

Мучительные дни с бессонными ночами,  
Как много вас прошло без света и тепла!  
Как вы мне памятны тоскою и слезами,  
Потерями надежд, бессильем против зла!..

Но были у меня отрадные мгновенья,  
Когда всю скорбь мою я в звуках изливал,  
И знал я сердца мир и слезы вдохновенья,  
И долю горькую завидной почитал.

За дар свой в этот миг благодарил я Бога,  
Казался раем мне приют печальный мой,  
Меж тем безумная и пьяная тревога,  
Горячий спор и брань кипели за стеной...

Вдруг до толпы дошел напев мой вдохновенный,  
Из сердца вырванный, родившийся в глуши,—  
И чувства лучшие, вся жизнь моей души  
Разоблачились рукой непосвященной.

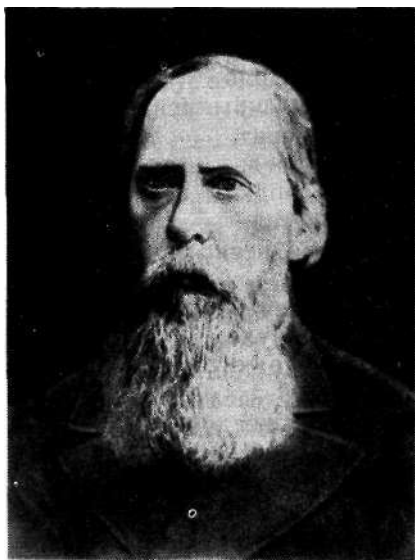
Я слышу над собой и приговор и суд...  
И стала песнь моя, песнь муки и восторга,  
С людьми и с жизнью меня миривший труд,—  
Предметом злых острот, и клеветы, и торга...

1859

## УТРО

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.  
Белый пар по лугам расстилается.  
По зеркальной воде, по кудрям лозняка  
От зари алый свет разливается.  
Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг,  
Чуть приметна тропинка росистая.

Куст заденешь плечом,— на лицо тебе вдруг  
С листьев брызнет роса серебристая.  
Потянул ветерок,— воду моршит-рябит.  
Пронеслись утки с шумом и скрылися.  
Далеко, далеко колокольчик звенит,  
Рыбаки в шалаше пробудилися,  
Сняли сети с шестов, весла к лодкам несут.  
А восток все горит-разгорается.  
Птички солнышка ждут, птички песни поют,  
И стоит себе лес, улыбается.  
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит;  
За морями ночлег свой покинуло,  
На поля, на луга, на макушки ракиит  
Золотыми потоками хлынуло.  
Едет пахарь с сохой, едет — песню поет.  
По плечу молодцу все тяжелое...  
Не боли ты, душа! Отдохни от забот!  
Здравствуй, солнце да утро веселое!



**Михаил  
Евграфович  
САЛТЫКОВ-  
ЩЕДРИН**

(1826—1889)

**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА**

- 1826, 15(27) января Михаил Евграфович Салтыков родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии.
- 1836—1838 — М. Салтыков учится в Московском дворянском институте.
- 1838—1844 — будущий писатель учится в Царскосельском лицее.
- 1841, март — первое выступление М. Салтыкова в печати: стихотворение «Лира» в журнале «Библиотека для чтения».
- 1844—1848 — служба в канцелярии военного министерства.
- 1847—в журнале «Отечественные записки» напечатана первая повесть Салтыкова «Противоречия».
- 1848—в журнале «Отечественные записки» опубликована повесть «Запутанное дело», за которую автора высылают в Вятку.
- 1848—1855 — служба в Вятке.
- 1855, 12 ноября — Александр II разрешает Салтыкову «проживать и служить, где пожелает».
- 1856—1857 — публикация в «Русском вестнике» «Губернских очерков» под псевдонимом «Н. Щедрин».
- 1857, октябрь — «Русский вестник» печатает пьесу «Смерть Пазухина».
- 1858, март — М. Е. Салтыков назначен рязанским вице-губернатором.
- 1862—уходит в отставку с государственной службы, становится членом редакции «Современника».
- 1864—выходит книга «Невинные рассказы». В этом же



- году М. Е. Салтыков-Щедрин выходит из состава редакции «Современника». Назначен председателем Пензенской казенной палаты.
- 1867— М. Е. Салтыков назначен управляющим Рязанской казенной палатой.
- 1868— М. Е. Салтыков уходит в отставку с поста управляющего Рязанской казенной палатой, навсегда заканчивает служебную карьеру. В этом же году М. Е. Салтыков-Щедрин становится членом редакции «Отечественных записок», возглавляемой Н. А. Некрасовым.
- 1870— отдельное издание «Истории одного города».
- 1873— отдельные издания «Господ ташкентцев», «Помпадуров и помпадурш».
- 1876— в связи с тяжелой болезнью Некрасова Салтыков-Щедрин фактически возглавляет «Отечественные записки».
- 1878— Салтыков-Щедрин становится редактором «Отечественных записок».
- 1880— издание романа «Господа Головлевы» (сначала в «Отечественных записках», затем отдельной книгой).
- 1883— в «Отечественных записках» опубликованы «Современная идиллия» и «Пошехонские рассказы».
- 1884, апрель — закрытие «Отечественных записок».
- 1886— отдельное издание сказок Салтыкова-Щедрина.
- 1889, 28 апреля, 3 часа 20 минут — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин скончался.
- 1889, 2 мая — похороны на Волковом кладбище, рядом с могилой Тургенева (по завещанию Салтыкова), при огромном стечении народа.

## СКАЗКИ

### ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил на свет гляючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прощению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает,— видит и опасается: а ну, как он у меня все добро приест?

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: старайся!

— Одно только слово написано,— молвит глупый помещик: — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по праву. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить, по секрету, в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую,— говорит помещик соседям своим: — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть; куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу.

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронесли в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Естественно, остался доволен. Думает: теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!

И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому<sup>1</sup>: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский; сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр, и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней невымытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: что это я все гранпасьянс да гранпасьянс<sup>2</sup> раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульту-другую<sup>3</sup> сыграть!

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы: — стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульту, сыграли другую; чувствуют генералы, что

<sup>1</sup> *Садовские* — знаменитая актерская семья, несколько поколений которой выступало на сцене Московского Малого театра.

<sup>2</sup> *Гранпасьянс* — один из видов пасьянса; *пасьянс* — название карточных задач, заключающихся в раскладывании карт для получения определенной их группировки.

<sup>3</sup> *Пультка* (или *преферанс*) — карточная игра для трех или четырех человек.

пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырjem кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз»<sup>1</sup> и думает: ежли сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольню гранпасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по-шучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да трой-

<sup>1</sup> «Д а ж с кий каприз» — один из видов пасьянса.

ной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец, устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг забывшись, но потом спохватится и скажет: — ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой-токой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя: — хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: ну, этот, кажется, останется доволен!

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?., это они! это они сами! это их священный долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий<sup>2</sup> существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

<sup>1</sup> ...по берегам Евфрата и Тигра... — В долине Евфрата и Тигра, по библейскому преданию, находился земной рай, где жили, пока были безгрешными, Адам и Ева,

<sup>2</sup> ...без винной и соляной регалий... — Царская казна получала доходы от продажи вина и соли.

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «а знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам, и все думает: чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: — в Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик!

Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточки, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько

раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хотя в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древник Исав<sup>1</sup>, а ногти у него сделались как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности,— а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь: — только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает

<sup>1</sup> Исав — библейский герой, бесстрашный охотник.

он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел оторвавшийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

Что же сделалось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

1869

## ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ

Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аредовы веки в реке прожили' и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,— говорил старый пескарь, умирая: — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Д'а и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пескарь — и тот: как увидят, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое? каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и, наконец... уду!

*Прожить аредовы веки — прожить чрезвычайно долго.*



Кажется, что может быть глупее уды? — нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... да и надеты-то как?., в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пескарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он: — потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалося! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лешей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было! У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает». Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет! Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пескариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здоровые понятия об ухе имеет!

Но он, пескарь-сын, отлично запомнил поучения пескаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пескарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку<sup>1</sup> облизать. «Надо глядеть в оба, —

<sup>1</sup> *Мутовка* — палочка с рожками на конце для размешивания и взбалтывания (муки, яиц и т. д.).

сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке! Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион<sup>1</sup> делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козьявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, а букашка под кору хоронится. Поглощает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и все-то думает: кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время шурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы шука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и шуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: слава тебе, господи! жив!

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его\*

<sup>1</sup> *Моцион* — прогулка.

была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! в то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в ухо, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пескарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: слава богу! кажется, жив!

Даже щуки под конец и те стали его хвалить: вот кабы все так жили — то-то бы в реке было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает: слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова: вот кабы все так жили, как этот премудрый пескарь живет... А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пескарый род давно перевелся бы! Потому что для продолжения пескарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтобы пескарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пескари достаточное питание получали, чтоб не чуждались обществу, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволит ей измелкчать и выродиться в сметка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому

доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни тепло не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пескари, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка спрошу я у премудрого пескаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука'его не заглotala, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слышали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылюю свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть, не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам шук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглotala, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пескаря, да к тому же еще и *премудрого!*

1882

## МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и, в качестве таковых, заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал, и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он всё на одно поворачивал: «Кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!»

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо приедет майор,— говорили они,— засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил: «Быть назавтра кровопролитию». Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напилсь в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный это был Чижик, умный: и ведро таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш Чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как Чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспреренно это должен быть внутренний супостат!»

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он, наконец.

Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгрёб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин, — меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» — а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы, не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он Чижику съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижику съел!

Он — за вороной, ан из-за куста зайныка выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижику съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— *Risum teneatis, amici!*<sup>1</sup> Чижику съел!

Лягушка в болоте квакнула:

— Олух царя небесного! Чижику съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижику съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни

<sup>1</sup> Возможно ли не рассмеяться, друзья! (лат.).

направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десятков шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умалется. Того гляди, и в соседние трушобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... Чижик! скажите на милость! Чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трушобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло, — а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с Чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминании об ней, задумывался. Сам по себе, он знал об ней очень смутно, но от Осла слышал, что даже Лев ее боится: «Не хорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть!» История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать

бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел Чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел — и первым делом Чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык — все будут говорить: «Майора Топтыгина послали супостата покорить, а он, вместо того, Чижика съел!» Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: «Чижика съел! Чижика съел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитнее учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а Чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч, и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственноручно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво Любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии.

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом.



## II. ТОПТЫГИН 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магницком этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставая, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («*similia similibus curantur*<sup>1</sup>»), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, пбмре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя,— сказал он себе,— стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка

<sup>1</sup> ...клин клином вышибают (лат.).

разорил, а все ему мало кажется. «Постой,— говорит,— я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пушу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провалилась. Повис майор на воздухе; видит, что неминуемое дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присволяется наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственноручно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

### III. ТОПТЫГИН 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва,— мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» — но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й, — чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» — и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминая, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос — вот какие твои права! У *них* — права, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! *Они* — друга друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?» — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рывкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и неблагоприятный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными»

ми». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропшут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: *laissez passer, laissez faire!*<sup>1</sup> Или, по-русски выражаясь: «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!» Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у нас будет состоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них...— слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при

<sup>1</sup> ...предоставить свободу действий (*фр.*).

этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

1884

## ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городского, то непременно сравнивают его с орлом. «Подобно орлу, говорят, городской бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав,— простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь в самом деле, красиво! Выхватил... простил! Простил?!» — вот что в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, а затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним для городского может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспопадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и всё.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоче, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвешать!»

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоет, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чашу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать... Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянец на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слышал: что эта птица — малая, не стоит из-за нее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», — а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворянх заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведро с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают», коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс<sup>1</sup>, да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем. И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели хвастаться. Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горяшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает,— а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыкнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». — «Было у солнца,— говорил дятел,— трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпении кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

<sup>1</sup> Академия де сиянс — академия наук.



— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец,— позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Раставанье друзей», где и о сию пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной суетолке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб... зз... хх...», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормилица нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв... зз... рrrrr...»

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача,— сказал он,— награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — все прочим челядинцам,— сколько на твою долю достанется?

— Всё,— отвечал орел.

— Ты говори дело,— возразил сокол.— Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «Не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутюю.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы залепились, коростели стали фальшивить, сорока-белобочка воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть Часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает Часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что

просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе — об этом он умолчал.

1884

## КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот ужo увидишь!

Карась — рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

— Не верю,— говорил он,— чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дождись! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это — рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распри видит; вместо прогресса — всеобщую одиочность. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась,— и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустраняемыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет,— разглагольствовал карась,— зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман!» разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зижду-

шей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину жидущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слышал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ошетинился, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?» И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготавливаться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок.

А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась.— И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повтори: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились...— загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему,— того гляди, проветрится, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася,— не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться,— продолжал карась невозмутимо,— а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя,— говорил он карасю,— ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурия порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их

ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «Вот кабы все рыбы между собой согласились...» А что, если бы ракушки между собой согласились — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумашь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бьвают, — так с таким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, не вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями случилось: ино их съели, ино в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася,



что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он, — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась, — я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иголкой живот прокалю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: «Не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!»

— А он тебя, за грубость, на сковороду, либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопы чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение опубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть шелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не обробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сухую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: «За то, что ты мне, карась, самую сухую правду сказал, жалую тебя этою заводу; будь ты над нею начальник!»

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастья я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статья возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами

к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди, prospись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: «Бунтовские, мол, речи карась говорит!» Только думаю: «Дай лучше сама послушайо...» Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно шелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,— пробормотал он в смущении,— это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась,— только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмот-

рела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник,— начала опять первая щука,— да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, зашелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

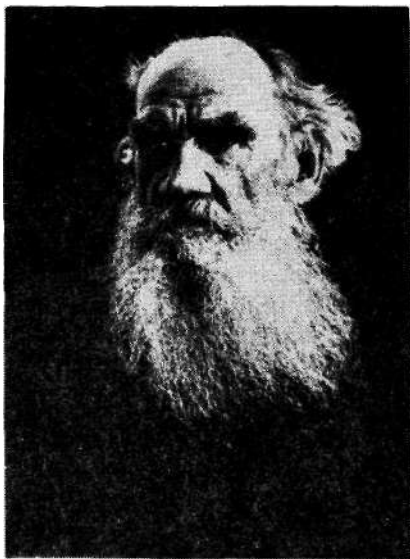
Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке — узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

**Лев  
Николаевич  
ТОЛСТОЙ**

*(1828—1910)*



**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА Л. Н. ТОЛСТОГО**

- 1828, 26 августа (9 сентября) — родился Лев Николаевич Толстой в имении Ясная Поляна Тульской губернии.
- 1830 — смерть матери Толстого Марии Николаевны.
- 1837 — переезд семьи Толстых из Ясной Поляны в Москву. Смерть отца Толстого Николая Ильича.
- 1841—Толстые переезжают в Казань.
- 1844 — Будущий писатель принят в Казанский университет на восточный факультет.
- 1845 — Л. Н. Толстой переводится на юридический факультет.
- 1847 — Толстой оставляет университет, уезжает из Казани в Ясную Поляну.
- 1851 — написан рассказ «История вчерашнего дня». Начата повесть «Детство». Отъезд на Кавказ.
- 1852 — зачисление на воинскую службу. В журнале «Современник» (№ 9) напечатана повесть «Детство».
- 1853 — начата повесть «Казачи».
- 1854 — Толстой произведен в прапорщики. Отъезд с Кавказа, перевод в Крымскую армию. Приезд в Севастополь.
- 1855 — начата работа над повестью «Юность». Участие в обороне Севастополя. Толстой пишет «Севастопольские рассказы». Приезд в Петербург. Знакомство с Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Фетом, Тютчевым, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, Островским и другими писателями.

- 1856—Толстой произведен в поручики. Уход в отставку.
- 1857 — первое заграничное путешествие по Франции, Швейцарии, Германии. Написан рассказ «Люцерн».
- 1859 — 1862 — занятия в Яснополянской школе с крестьянскими детьми.
- 1860— 1861 — второе заграничное путешествие — по Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Бельгии. Начало работы над романом «Декабристы» (остался незавершенным) и повестью «Поликушка».
- 1860—1863 — работа над повестью «Холстомер» (закончена в 1885 г.).
- 1862 — женитьба на Софье Андреевне Берс.
- 1863 — начата работа над романом «Война и мир» (закончена в 1869 г.).
- 1864—1865 — выходит из печати первое Собрание сочинений Л. Н. Толстого в двух томах.
- 1865—1866 — в журнале «Русский вестник» напечатаны две первые части «Войны и мира» под названием «1805 год».
- 1866 — знакомство с художником М. С. Башиловым, которому Толстой поручает иллюстрирование «Войны и мира».
- 1867—1869 — выход в свет двух отдельных изданий «Войны и мира».
- 1871 — 1872 — издание «Азбуки» Л. Н. Толстого.
- 1873 — начат роман «Анна Каренина».
- 1878 — первое отдельное издание романа «Анна Каренина».
- 1882—начата повесть «Смерть Ивана Ильича» (закончена в 1886 г.).
- 1884—основано издательство книг для народного чтения «Посредник».
- 1885— 1886 — для «Посредника» написаны народные рассказы «Два брата и золото», «Ильяс», «Где любовь, там и Бог», «Упустишь огонь — не потушишь», «Свечка», «Два старика», «Сказка об Иване-дураке», «Много ли человеку земли нужно» и др.
- 1886 — написана драма для народного театра «Власть тьмы». Начата комедия «Плоды просвещения». Знакомство с В. Г. Короленко.
- 1887 — знакомство с Н. С. Лесковым.
- 1891 — 1893 — организация помощи голодающим крестьянам Рязанской губернии.
- 1892 — постановка в Малом театре «Плодов просвещения».
- 1895 — знакомство с А. П. Чеховым. Постановка «Власти тьмы» в Малом театре.
- 1899 — в журнале «Нива» печатается роман «Воскресение».
- 1900 — знакомство с М. Горьким. Работа над драмой «Живой труп».
- 1901 — определение Синода об отлучении Толстого от церкви. В связи с болезнью Толстой едет в Крым, в Гаспру.

- 1901 — 1902 — письмо Толстого царю Николаю II с призывом ликвидировать частную собственность на землю.
- 1902 — возвращение в Ясную Поляну.
- 1903 — написан рассказ «После бала».
- 1904 — закончена повесть «Хаджи-Мурат».
- 1908 — опубликована статья Толстого против смертных казней «Не могу молчать!».
- 1910, октябрь — отъезд Толстого из Ясной Поляны.
- 1910, 7(20) ноября — Лев Николаевич Толстой скончался на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги.

## СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА

### I

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимая в нем участия и просматривал только что поданные «Ведомости».

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты<sup>1</sup>, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услышав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь

<sup>1</sup> ...члена Судебной палаты... — В соответствии с реформой 1864 г. общие суды, ведавшие обычными судебными делами (исключая духовные и военные), имели две инстанции: окружной суд и судебную палату. Иван Ильич был членом суда второй инстанции.



уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

— Я так и думал, что ему не подняться,— вслух сказал Петр Иванович.— Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот не может мне простить, что я живу за рекой,— улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости от том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет»,— подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правопедения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность,

*...глазетовая крышка гроба... — Глазет — парча с вытканными на ней узорами из золота или серебра.*

и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем: он, очевидно, хотел стовориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестьясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаяющим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по срединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши очоленевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменялся, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проход-

ной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером шелкнуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

— Сейчас будет панихида; пройдите.

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:

— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича... — и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.

Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами,— сказала вдова.— Дайте мне руку.

Петр Иванович поднял руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: «Вот те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь»,— сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гости-

ную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещей и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилий за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавший под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже шелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить двести рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взяв на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выразивший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста,— сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я все сама делаю,— сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила:— Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же.— Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:

— Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голоса, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.

— Да,— прошептала она,— до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко,

сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидел опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичом (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело,— и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:

— Поверьте... — и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсии; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скарденность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабрак<sup>1</sup>, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидел знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват.

<sup>1</sup> антикварном магазине (от *фр.* bric-a-brac).

За дочь стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать-четырнадцать лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

— Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?

— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.

## И

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был *le phenix de la famille*<sup>1</sup>, как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении<sup>2</sup>. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и несколько не огорчился воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом<sup>3</sup> и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: «*respice finem*»<sup>4</sup>, простился с принцем и воспитателем, пообедал с това-

<sup>1</sup> гордость семьи (фр.).

<sup>2</sup> *Воспитывался он ... в Правоведении.* — Имеется в виду Училище правоведения, одно из высших учебных заведений (четыре основных и три специальных курса), учрежденное для обучения детей потомственных дворян в целях подготовки их к службе по судебной части.

<sup>3</sup> ...*десятым классом...* — т. е. в чине коллежского секретаря.

<sup>4</sup> «предвидь конец» (лат.).

рингами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и *bon enfant*<sup>1</sup>, как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу; была и модистка; были и попойки с приездными флигель-адъютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe*<sup>2</sup>. Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut*<sup>3</sup>, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса

<sup>1</sup> добрый малый (фр.).

<sup>2</sup> молодость должна перебеситься (фр.).



и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того круж-

ка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игристые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключением. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться?» — сказал он себе.

Девушка Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделиться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaite de sseur*<sup>1</sup>, как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением

<sup>1</sup> из каприза (*фр.*).

к жизни, которое выручало его прежде,— он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно, твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере, с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо ограждать себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Праксковь Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич,— все это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но

выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед вышшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал,— все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично. Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

### III

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное

обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств,— он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана

Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

*«Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение».*

Иван Ильич благодаря этой перемене лиц неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти все из провинции, прикупить, приказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда все устроилось так удачно и когда они сходились с женой в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому оно

придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель, и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно,— не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее,— все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия,— он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной ком-

наты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — не доставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то не доставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек не должностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-ни-



будь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, — слыхал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта — то это было все-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпрепровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «Дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе»<sup>1</sup>. Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди, и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой,

<sup>1</sup> ...общества «Унеси ты мое горе». — Пародия на название филантропического общества, каких много появилось в России в 80-е годы.

и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.

#### IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброте, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему,

что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим,— у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешивание вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествуяще, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы,— сказал он.— Вообще, это опасная болезнь или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным,— сказал доктор.— Дальнейшее покажет исследование.— И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил

доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада,— сказала жена,— так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку.— И она пошла одеваться.

Он не переводил дыхания, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

— Ну что ж,— сказал он.— Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принятия лекарств и прислушивание к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало

уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предложениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечением и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, — он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались

скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое:

— Вы знаете,— говорила она знакомым,— Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет; завтра вдруг, если я посмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.

— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою.— Один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Все равно я не мог спать от боли...

— Да там уж отчего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей,— и поддержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку»,— думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем пре-

кратить, если вы устали. Вы отдохните». Отдохнуть? Нет, он ни сколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность, и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отравы эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

v

Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурина и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурина раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все.

— Что, переменялся?

— Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурина отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурина пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреть в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо», — сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «Почка, блуждающая почка». Он вспомнил все то, что ему говорили

доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

— Куда ты, Jean? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял.

Была одна штука, маленькая штука в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. В его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это все так,— сказал он себе.— Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал шупать бок,— на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, боже мой! — проговорил он.— Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Сле-



пая кишка! Почка,— сказал он себе.— Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Все равно,— говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту.— Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ригурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услышала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

— Что ты, Jean?

— Ничего...го. У...ро...нил.— «Что же говорить. Она не поймет»,— думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

— Что тебе, или хуже?

— Да.

Она покачала головой, посидела.

— Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом.

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

— Прощай. Бог даст, заснешь.

— Да.

## VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера<sup>1</sup>: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я как бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

<sup>1</sup> *Кизевётер* — Иоганн Готфрид Кизеветтер (1766—1819) — немецкий философ, последователь и пропагандист Канта, автор многих работ, в том числе учебника по логике, который был переведен на русский язык. В нем как пример приводился такой силлогизм: «Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен». *Кай* — Гай Юлий Цезарь.

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничижало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только *она* правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от *нее*. И что было хуже всего — это то, что *она* отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он, — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он

брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей,— то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот *etablissement*<sup>1</sup> с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь, или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о *ней*, *ее* не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидел *ее*. *Она* мелькнула, он еще надеется, что *она* скроется, но невольно он прислушался к боку,— там сидит все то же, все так же поет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов. К чему все?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, и делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

## VII

Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

<sup>1</sup> устройство, сооружение (*фр.*).

Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубаше, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича,— очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице,— подошел к судну.

— Герасим,— слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с.— И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы.— Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич все так же сидел в кресле.

— Герасим,— сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно,— пожалуйста, помоги мне, поди сюда.— Герасим подошел.— Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я уснул.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо... все делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше,— сказал Иван Ильич.— Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять

Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось, хуже.

— Герасим,— сказал он ему,— ты теперь занят?

— Никак нет-с,— сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо еще?

— Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так поддержи мне так ноги повыше, можешь?

— Отчего же, можно.— Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь,— та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было,

когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплусь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом,— хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отвратляла последние дни жизни Ивана Ильича.

## VIII

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни; надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай», — подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок», — подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо.— «Не попробовать ли чаю?» — подумал он.— Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». — Петр, подай мне лекарство.— «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман,— решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус.— Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся.— Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Все лучше смерти!»

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

— Да,— сказал он,— чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало; особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Все то же. То капля надежды блеснет, то взбушует море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».



Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь,— говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж все исправит.

— Ну что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «Как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «Как вы провели ночь?»

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте.— И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уже очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор вы-

работал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом,— и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему,— ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить».

Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю,— сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали впрыскивание, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать.

Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар<sup>1</sup>, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно, влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой *a la Carouf*, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнающий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:

— Нет; а вы уж видели?

<sup>1</sup> *Сарра Бернар* (1844—1923) — французская драматическая актриса: в 80-е годы гастролировала в России.

— Да, в «Adrienne Lecouvreur<sup>1</sup>».

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры,— тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами перед собою, очевидно, негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.

— Однако, *если ехать*, то пора,— сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев, платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было,— она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Все хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима,— ответил он на вопрос Петра.

## IX

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела уснуть Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:

— Нет. Иди.

— Ты очень страдаешь?

— Все равно.

— Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на

<sup>1</sup> «Adrienne Lecouvreur» — пьеса французских драматургов Огюстена Скриба (1791—1861) и Габриэля Легуве (1764—1812). Роль Адриенны Лекуврер играла Сарра Бернар.

постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.

— Уйди, Герасим,— прошептал он.

— Ничего, посижу-с.

— Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

«Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал.— Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе.— Чего? — Не страдать. Жить,— ответил он.

И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос.

И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было велье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это

были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно, и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так, как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал все как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти, как что-то совершенно невозможное.

«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!..» Суд идет, идет суд,— повторил он себе.— Вот он, суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой.— За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

## х

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.

Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору,— чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи,— одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле,— в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно»,— говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже»,— думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти»,— подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал,— ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя,— говорил он себе.— Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать»,— гово-

рил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно,— говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею.— Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

## XI

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно,— сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза матери.— Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучать?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем,— сказал доктор.

— И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим,



поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, — сказал он себе, — и я уйду из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличилось, удесятирило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

— Жан, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здорové часто...

Он открыл широко глаза.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

— Прекрасно, очень хорошо — проговорил он.

Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. «Жить, жить хочу», — говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

— Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказала ему одно: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания

и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закрычал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

## хп

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» — и так продолжал кричать на букву «у».

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

— Да, все было не то,— сказал он себе,— но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? — спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым

ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их,— подумал он.— Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать»,— подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя...— Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто,— подумал он.— А боль? — спросил он себя.— Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

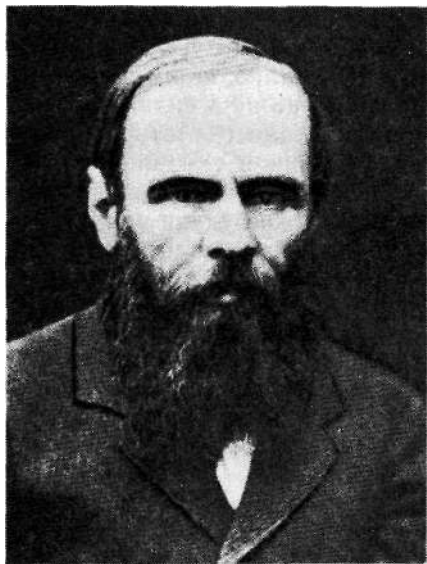
— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он.— Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клочкотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клочкотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть,— сказал он себе.— Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.



**Федор  
Михайлович  
ДОСТОЕВСКИЙ**  
(1821—1881)

**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

- 1821, 30 октября (11 ноября) — родился Федор Михайлович Достоевский в Москве.
- 1834— 1837 — обучение в частном пансионе Л. И. Чермака.
- 1837, май — переезд братьев Ф. М. и М. М. Достоевских в Петербург для поступления в Инженерное училище.
- 1838, январь — Ф. М. Достоевский поступает в Инженерное училище.
- 1843, август — Ф. М. Достоевский заканчивает полный курс наук в верхнем офицерском классе и зачисляется на службу в инженерный корпус при Санкт-Петербургской инженерной команде.
- 1844, 19 октября — увольнение с военной службы.
- 1845, май — чтение рукописи повести «Бедные люди» Н. А. Некрасовым и Д. В. Григоровичем. Знакомство Достоевского с В. Г. Белинским.
- 1846, январь — выход в свет альманаха Н. А. Некрасова «Петербургский сборник», в котором опубликована повесть «Бедные люди».
- 1847, зима — Ф. М. Достоевский начинает посещать кружок М. В. Петрашевского.
- 1849, 23 апреля — арест Достоевского по делу петрашевцев.
- 1849, май — в «Отечественных записках» опубликована повесть «Неточка Незванова».
- 1849, 22 декабря — драма на Семеновском плацу.
- 1850, 23 января — прибытие в Омский острог.
- 1854, февраль — окончание каторги.

- 1854, 2 марта — зачисление рядовым в батальон, расположенный в городе Семипалатинске.
- 1855, 20 ноября — производство Достоевского в унтер-офицеры.
- 1856, октябрь — присвоение офицерского звания.
- 1857, 6 февраля — венчание Достоевского с Марией Дмитриевной Исаевой в городе Кузнецке.
- 1859, февраль — разрешение выйти в отставку и запрещение проживания в Санкт-Петербургской и Московской губерниях. Переезд в город Тверь.
- 1859, декабрь — переезд Достоевского в Петербург.
- 1860, июль — разрешение М. М. Достоевскому (брату писателя) издавать журнал «Время».
- 1860, сентябрь — в газете «Русский мир» начали печататься «Записки из Мертвого дома».
- 1861, январь — выход в свет первого номера журнала «Время» с первыми главами «Униженных и оскорбленных».
- 1862, июнь — Ф. М. Достоевский впервые выезжает за границу. Встреча с А. И. Герценом в Лондоне.
- 1863, май — запрещение журнала «Время».
- 1864, январь — разрешение М. М. Достоевскому издавать журнал «Эпоха».
- 1864, апрель — смерть Марии Дмитриевны Достоевской (Исаевой).
- 1864, июль — смерть Михаила Михайловича Достоевского.
- 1866, декабрь — окончание работы над романом «Преступление и наказание».
- 1867, 15 февраля — венчание Ф. М. Достоевского с Анной Григорьевной Сниткиной.
- 1868, декабрь — окончание работы над романом «Идиот».
- 1873, декабрь — окончание работы над романом «Бесы».
- 1875, декабрь — завершена работа над романом «Подросток».
- 1878, май — поездка Ф. М. Достоевского в Оптину Пустынь.
- 1880, июнь — речь Ф. М. Достоевского о Пушкине на заседании Общества любителей российской словесности.
- 1880, ноябрь — окончание работы над романом «Братья Карамазовы».
- 1881, 28 января, 8 часов 38 минут вечера — Федор Михайлович Достоевский скончался в Санкт-Петербурге.
- 1881, 1 февраля — похороны Ф. М. Достоевского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

**ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, СКАЗАННОЕ НА ЛИТЕРАТУРНОМ УТРЕ  
В ПОЛЬЗУ СТУДЕНТОВ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
30 ДЕКАБРЯ 1879 Г. ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ГЛАВЫ  
«ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»**

Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — Великим инквизитом. Страдание сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом *социальной* любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к нему. Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, рассказывает сюжет своей поэмы другому.

## ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

— Ведь вот и тут без предисловия невозможно, — то есть без литературного предисловия, тьфу! — засмеялся Иван, — а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, — тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, — тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В «Notre Dame de Paris»<sup>1</sup> у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: «Le bon jugement de la tres sainte et gracieuse Vierge Marie»<sup>2</sup>, где и явля-

<sup>1</sup> В «соборе Парижской богоматери» (фр.).

<sup>2</sup> «Праведный суд пресвятой и всемилостивой девы Марии» (фр.).

ется она сама лично и произносит свой *bon jugement*<sup>1</sup>. У нас, в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее «по мукам» архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает Бог» — выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на прогвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прошу его мучителей,— то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год, от великой пятницы до троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят господя и вопиют к нему: «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залого с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,  
Нет залогов от небес.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огром-

<sup>1</sup> праведный суд (*фр.*).

ная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви), «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде... И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи явися нам», столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их «житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде царь небесный  
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу — к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе  
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, он возжелал хоть на мгновенье посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему, он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном автодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad majorem gloriam Dei*<sup>1</sup>. Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимую силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди них с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его

к вящей славе господней (*лат.*).



и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю»,— и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это он, это сам он,— повторяют все,— это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя»,— кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный паптер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на папертю к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» — «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры,— нет, в эту минуту он лишь в старой грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со

светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему:

— Это ты? ты? — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь, — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

— Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? — улыбнулся все время молча слушавший Алеша, — прямо ли безбрежная фантазия, или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*?<sup>1</sup>

— Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван, — если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического — хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, — рассмеялся он опять, — старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все девяносто лет он высказывался и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

— А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

— Да так и должно быть во всех даже случаях, — опять засмеялся Иван. — Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: «все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? — спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за

<sup>1</sup> одно вместо другого (*лат.*) — т. е. путаница, недоразумение.

него,— нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот ты теперь увидел этих «свободных» людей,— прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой.— Да, это дело нам дорого стоило,— продолжает он, строго смотря на него,— но мы dokonчили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?»

— Я опять не понимаю,— прервал Алеша,— он иронизирует, смеется?

— Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали,— говорит он ему,— ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»

— А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? — спросил Алеша.

— А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия,— продолжает старик,— великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы «искушал» тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо «искушениями»? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершенно настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо вос-

становить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, — то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неизвестно, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои». Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей,

ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немислимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать — так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв «хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как одиночного существа, так и целого человечества вместе — это: «пред кем преклониться?» Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека одиночно и как целого человечества

с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, — знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, — и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека веками. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, — но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих сла-

босильных бунтовщиков, для их счастья,— эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего»,— но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил господя, и веру в него всю потерял и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал,— и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятшек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы

и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отомстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправне были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на *чуде, тайне* и *авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с *ним*, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и донныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор



лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в беспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть и третья и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроить непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. Мы и взяли меч кесаря, а взял его, конечно, отвергли тебя и пошли за *ним*. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебе же и воздвигнут *свободное* знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но мало-сильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлеба,

конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и бы-

ло что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих *тайну*, что взбунтуются вновь мало-сильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее «гадкое» тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь». Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жадной «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили подвиг твой*. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится поджечь горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. *Dixi*<sup>1</sup>.

Иван остановился. Он разгорячился говоря и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся.

Алеша, все слушавший его молча, под конец же в чрезвычайном волнении много раз пытавшийся перебить речь брата, но видимо себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места.

— Но... это нелепость! — вскричал он, краснея. — Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда — это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором — римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками...

<sup>1</sup> Я сказал (*лат.*).

вот и все у них. Они и в бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...

— Да стой, стой,— смеялся Иван,— как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть! Конечно, фантазия. Но позволь, однако: неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ. Уж не отец ли Паисий так тебя учит?

— Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего... но, конечно, не то, совсем не то,— спохватился вдруг Алеша.

— Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: «совсем не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупались для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ — хоть один только такой, как мой старик инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидевший, что невеликое нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ божиих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своею свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул... к умным людям. Неужели этого не могло случиться?

— К кому примкнул, к каким умным людям? — почти в азарте воскликнул Алеша.— Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет!

— Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть скольконьбудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». И вот, убеждаясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они

как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, «жаждущей власти для одних только грязных благ», то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таких единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и один пастырь... Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.

— Ты, может быть, сам масон! — вырвалось вдруг у Алеши. — Ты не веришь в бога, — прибавил он, но уже с чрезвычайною скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. — Чем же кончается твоя поэма? — спросил он вдруг, смотря в землю, — или уж она кончена?

— Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его на «темные стогна града». Пленник уходит.

— А старик?

— Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.

— И ты вместе с ним, и ты? — горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся.

— Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал: мне бы только до тридцати лет дотянуть, а там—кубок об пол!

— А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? — горестно восклицал Алеша.— С таким адом в груди и в голове разве это возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть... а если нет, то убьешь себя сам, а не выдержишь!

— Есть такая сила, что все выдержит! — с холодной уже усмешкой проговорил Иван.

— Какая сила?

— Карамазовская... сила низости карамазовской.

— Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?

— Пожалуй, и это... только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там...

— Как же избежешь? Чем избежешь? Это невозможно с твоими мыслями.

— Опять-таки по-карамазовски.

— Это чтобы «все позволено»? Все позволено, так ли, так ли?

Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.

— А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов...- и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? — криво усмехнулся он.— Да, пожалуй: «все позволено», если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина недурна.

Алеша молча глядел на него.

— Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя,— с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван,— а теперь вижу, что и в твоём сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы «все позволено» я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да?

Алеша встал, подошел к нему и молча тихо поцеловал его в губы.

— Литературное воровство! — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг,— это ты украл из моей поэмы! Спасибо, однако. Вставай, Алеша, идем, пора и мне и тебе.

Они вышли, но остановились у крыльца трактира.

— Вот что, Алеша,— проговорил Иван твердым голосом,— если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо,

я налево — и довольно, слышишь, довольно. То есть, если я бы завтра и не уехал (кажется, уеду наверно) и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже, особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, — прибавил он вдруг раздражительно, — все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам: когда к тридцати годам я захочу «бросить кубок об пол», то, где б ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою... хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени: каков-то ты тогда будешь? Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы, может быть, лет на семь, на десять прощаемся. Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus, ведь он умирает; умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай...

Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаньице промелькнуло, как стрелка, в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. «Pater Seraphicus» — это имя он откуда-то взял — откуда? — промелькнуло у Алеши. — Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу. Вот и скит, господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня... от него и навеки!»

Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрие, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь.



**Алексей  
Константинович  
ТОЛСТОЙ**

*(1817—1875)*

КРАТКАЯ БИОХРОНИКА А. К. ТОЛСТОГО

- 1817, 24 августа (5 сентября) — в Петербурге родился Алексей Константинович Толстой. Детство поэта проходит в имении дяди А. А. Перовского (писатель Антоний Погорельский). Для маленького Алеши дядя сочинил знаменитую теперь сказку «Черная курица».
- 1834 — семья переезжает в Москву. А. К. Толстой поступает на службу в Архив иностранных дел.
- 1835 — экстерном сдает экзамены за курс словесного факультета Московского университета.
- 1837 — служит в русской дипломатической миссии во Франкфурте-на-Майне.
- 1840 — переводится на службу во второе отделение его императорского величества канцелярии.
- 1841 — литературный дебют А. К. Толстого: опубликована фантастическая повесть «Упырь», получившая одобрителыные отклики критики в печати.
- 1854 — начало активного сотрудничества с журналом «Современник», на страницах журнала печатаются лирические стихотворения, пародии, эпиграммы А. К. Толстого. Вместе со своими двоюродными братьями А. М. и В. М. Жемчужниковыми публикует сатирико-пародийные произведе-



дения за подписью «Козьма Прутков». В конце 50-х годов А. К. Толстой прекращает сотрудничество с «Современником».

1861 — А. К. Толстой уходит в отставку с государственной службы, посвятив себя литературе.

1862 — опубликована драматическая поэма «Дон Жуан».

1863 — выход в свет романа «Князь Серебряный».

1866 — опубликована трагедия «Смерть Иоанна Грозного».

1868—появление в печати трагедии «Царь Федор Иоаннович».

1870 — выход в свет трагедии «Царь Борис», завершившей трилогию русской истории XVI— начала XVII века.

1870—1872 — опубликованы былины «Илья Муромец» и «Садко».

1875, 28 сентября (10 октября) — Алексей Константинович Толстой скончался в имении Красный Рог Черниговской губернии (ныне Брянская область).

\* \* \* А

Колокольчики мои,  
Цветики степные!  
Что глядите на меня,  
Темно-голубые?  
И о чем звените вы  
В день веселый мая,  
Средь некошеной травы  
Головой качая?

Конь несет меня стрелой  
На поле открытом;  
Он вас топчет под собой,  
Бьет своим копытом.  
Колокольчики мои,  
Цветики степные!  
Не кляните вы меня,  
Темно-голубые!

Я бы рад вас не топтать,  
Рад промчаться мимо,  
Но уздой не удержать  
Бег неукротимый!  
Я лечу, лечу стрелой,  
Только пыль взметаю;  
Конь несет меня лихой,—  
А куда? не знаю!..

1841

\* \* \*

Край ты мой, родимый кра  
Конский бег на воле,  
В небе крик орлиных стай,  
Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!  
Гой ты, бор дремучий!

Свист полночный соловья,  
Ветер, степь да тучи!

1856

\* \* \*

Средь шумного бала, случайно,  
В тревоге мирской суеты,  
Тебя я увидел, но тайна  
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,  
А голос так дивно звучал,  
Как звон отдаленной свирели,  
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий  
И весь твой задумчивый вид;  
А смех твой, и грустный и звонкий,  
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи  
Люблю я, усталый, прилечь —  
Я вижу печальные очи,  
Я слышу веселую речь;

И грустно я так засыпаю,  
И в грезах неведомых сплю...  
Люблю ли тебя — я не знаю,  
Но кажется мне, что люблю!

1851

\* \* \*

Не ветер, вея с высоты,  
Листов коснулся ночью лунной;  
Моей души коснулась ты —  
Она тревожна, как листья,  
Она, как гусли, многострунна.  
Житейский вихрь ее терзал  
И сокружительным набегом,  
Свистя и воя, струны рвал  
И заносил холодным снегом.  
Твоя же речь ласкает слух,  
Твое легко прикосновенье,  
Как от цветов летящий пух,  
Как майской ночи дуновенье...

1852

\* \* \*

Не верь мне, друг, когда в избытке горя  
Я говорю, что разлюбил тебя,  
В отлива час не верь измене моря,  
Оно к земле воротится, любя.

Уж я тоскую, прежней страсти полный,  
Мою свободу вновь тебе отдам,  
И уж бегут с обратным шумом волны  
Издалека к любимым берегам!

1856

•к \* \*

Ты клонишь лик, о нем упоминая,  
И до чела твоя восходит кровь —  
Не верь себе! Сама того не зная,  
Ты любишь в нем лишь первую любовь;

Ты не его в нем видишь совершенства,  
И не собой привлечь тебя он мог —  
Лишь тайных дум, мучений и блаженства  
Он для тебя отысканный предлог;

То лишь обман неопытного взора,  
То жизни луч из сердца ярко бьет  
И золотит, лаская без разбора,  
Все, что к нему случайно подойдет.

1858

•к \* \*

Острою секирой ранена береза,  
По коре сребристой покатались слезы;  
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!  
Рана не смертельна, вылечится к лету,  
Будешь красоваться, листьями убрана...  
Лишь больное сердце не залечит раны!

1856

•к к \*

Звонче жаворонка пенье,  
Ярче вешние цветы,

Сердце полно вдохновенья,  
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,  
Цепи пошлые разбив,  
Набегает жизни новой  
Торжествующий прилив.

И звучит свежо и юно  
Новых сил могучий строй,  
Как натянутые струны  
Между небом и землей.

1858

•к -к 'к

То было раннею весной,  
Трава едва всходила,  
Ручьи текли, не парил зной,  
И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру  
Еще не пела звонко,  
И в завитках еще в бору  
Был папоротник тонкий.

То было раннею весной,  
В тени берез то было,  
Когда с улыбкой предо мной  
Ты очи опустила.

То на любовь мою в ответ  
Ты опустила вежды —  
О жизнь! о лес! о солнца свет!  
О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,  
На лик твой глядя милый,—  
То было раннею весной,  
В тени берез то было!

То было в утро наших лет —  
О счастье! о слезы!  
О лес! о жизнь! о солнца свет!  
О свежий дух березы!

1871

Ой, честь ли то молодцу лен прясти?  
А и хвала ли боярину кичку носить?  
Воеводе по воду ходить?  
Гусляру-певуну во приказе сидеть?  
Во приказе сидеть, потолок коптить?

Ой, коня б ему! гусли б звонкие!  
Ой, в луга б ему, во зеленый бор!  
Через реченьку да в темный сад,  
Где соловушка на черемушке  
Целу ноченьку напролет поет!

1857

\*к -к -к

Кабы знала я, кабы ведала,  
Не смотрела бы из окошечка  
Я на молодца разудалого,  
Как он ехал по нашей улице,  
Набекрень заломивши мурмолку,  
Как лихого коня буланого,  
Звонкононого, долгогривого,  
Супротив окон на дыбы вздымал!

Кабы знала я, кабы ведала,  
Для него бы я не рядилася,  
С золотой каймой ленту алую  
В косу длинную не вплетала бы,  
Рано до свету не вставала бы,  
За околицу не спешила бы,  
В росе ноженьки не мочила бы,  
На проселок тот не глядела бы,  
Не проедет ли тем проселком он,  
На руке держа пестра сокола!

Кабы знала я, кабы ведала,  
Не сидела бы поздно вечером,  
Пригорюнившись, на завалине,  
На завалине, близ колодезя,  
Поджидаячи да гадаючи,  
Не придет ли он, ненаглядный мой,  
Напоить коня студенной водой!

## КОЛОДНИКИ

Спускается солнце за степи,  
Вдали золотится ковыль,—  
Колодников звонкие цепи  
Взметают дорожную пыль.

Идут они с бритыми лбами,  
Шагают вперед тяжело,  
Угрюмые сдвинули брови,  
На сердце раздумье легло.

Идут с ними длинные тени,  
Две клячи телегу везут,  
Лениво сгибая колени,  
Конвойные с ними идут.

«Что, братцы, затянемте песню,  
Забудем лихую беду!  
Уж, видно, такая невзгода  
Написана нам на роду!»

И вот повели, затянули,  
Поют, заливаясь, они  
Про Волги широкой раздолье,  
Про даром минувшие дни.

Поют про свободные степи,  
Про дикую волю поют,  
День меркнет все боле,— а цепи  
Дорогу метут да метут...

*1850-е гг.*

\* \* \*

Как селянин, когда грозят  
Войны тяжелые удары,  
В дремучий лес несет свой клад  
От нападенья и пожара,

И там во мрачной тишине  
Глубоко в землю зарывает,  
И на чешуйчатой сосне  
Свой знак с заклятьем зарубает,—

Так ты, певец, в лихие дни,  
Во дни гоненья рокового,

Под темной речью хорони  
Свое пророческое слово!

## ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

1

Под броней с простым набором,  
Хлеба кус жуя,  
В жаркий полдень едет бором  
Дедушка Илья.

2

Едет бором, только слышно,  
Как бряцает бронь,  
Топчет папоротник пышный  
Богатырский конь.

3

И ворчит Илья сердито:  
«Ну, Владимир, что ж?  
Посмотрю я, без Ильи-то  
Как ты проживешь?»

4

Двор мне, княже, твой не диво!  
Не пиров держусь!  
Я мужик неприхотливый,  
Был бы хлеба кус!

5

Но обнес меня ты чарой  
В очередь мою —  
Так шагай же, мой чубарый,  
Уноси Илью!

6

Без меня других довольно!  
Сядут — полон стол!  
Только лакомы уж больно:  
Любят женский пол!

7

Все твои богатыри-то,  
Значит, молодежь;  
Вот без старого Ильи-то  
Как ты проживешь!



8

Тем-то я их боле стою,  
Что забыл уж баб;  
А как тресну булавою,  
Так еще не слаб!

9

Правду молвить, для княжого  
Не гожусь двора;  
Погулять по свету снова  
Без того пора!

10

Не терплю богатых сеней,  
Мраморных тех плит;  
От царьградских от курений  
Голова болит!

11

Душно в Киеве, что в скрине,  
Только киснет кровь!  
Государыне-пустыне  
Поклонюся вновь!

12

Вновь изведаю я, старый,  
Волюшку мою.  
Ну же, ну, шагай, чубарый,  
Уноси Илью!»

13

И старик лицом суровым  
Просветлел опять,  
Понутру ему здоровым  
Воздухом дышать;

14

Снова веет воли дикой  
На него простор,  
И смолой и земляникой  
Пахнет темный бор.

1871



**Яков  
Петрович  
ПОЛОНСКИЙ**  
(1819—1898)

**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА Я. П. ПОЛОНСКОГО**

- 1819, 6 (18) декабря — Яков Петрович Полонский родился в городе Рязани.
- 1831—1838 — годы учебы в Рязанской гимназии.
- 1837— Яков Полонский представил одно из своих стихотворений цесаревичу Александру Николаевичу (будущему Александру II), путешествовавшему по России в сопровождении своего наставника В. А. Жуковского. Этот эпизод Полонский считал началом своей литературной деятельности.
- 1838—1844 — годы учебы на юридическом факультете Московского университета, дружба с А. А. Григорьевым и А. А. Фетом.
- 1840— первая публикация поэта: стихотворение «Священный благовест торжественно звучит...» напечатано в журнале «Отечественные записки» (1840, № 9).
- 1844— выход в свет первого сборника стихотворений Я. П. Полонского «Гаммы».
- 1844— после окончания университета Полонский переезжает в Одессу, где выходит второй сборник стихотворений. В Одессе поэт знакомится с Л. С. Пушкиным, детской писательницей А. П. Зонтаг, племянницей В. А. Жуковского.
- 1846— Я. П. Полонский переезжает в Тифлис, поступает на службу в канцелярию наместника Кавказа М. С. Воронцова, сближается с писателями В. А. Соллогубом, Н. Ф. Щербиной, М. Ф. Ахундовым. В это время в поэзии

Полонского часты мотивы и образы фольклора и литературы народов Кавказа.

1851—поэт переезжает в Петербург.

1855— Полонский становится домашним учителем в семье А. О. Смирновой-Россет (которая в свое время была в дружеских отношениях с Жуковским, Пушкиным, Гоголем). Вместе с семейством Смирновых поэт уезжает за границу.

1860— Полонский возвращается в Петербург. На короткое время становится одним из редакторов журнала «Русское слово».

1867— опубликован роман Я. П. Полонского «Признания Сергея Чалыгина».

1879— публикация автобиографического романа «Дешевый город».

1881— выход в свет поэтического сборника «На закате».

1890—опубликован сборник стихотворений «Вечерний звон».

1898, 18(30) октября — Яков Петрович Полонский скончался в Петербурге. Похоронен в родной Рязани.

## ДОРОГА

Глухая степь — дорога далека,  
Вокруг меня волнует ветер поле,  
Вдали туман — мне грустно поневоле,  
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут — мне кажется, лениво  
Они бегут. В глазах одно и то ж —  
Все степь да степь, за нивой снова нива.  
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:  
— Про черный день мы песню бережем.  
— Чему ж ты рад? — Недалеко до хаты —  
Знакомый шест мелькает за бугром.

И вижу я: навстречу деревушка,  
Соломой крыт стоит крестьянский двор,  
Стоят скирды.— Знакомая лачужка,  
Жива ль она, здорова ли с тех пор?

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин  
Найдет ямщик под кровлею своей.  
А я устал — покой давно мне нужен;  
Но нет его... Меняют лошадей.

Ну-ну, живей! Долга моя дорога!  
Сырая ночь — ни хаты, ни огня.  
Ямщик поет — в душе опять тревога —  
Про черный день нет песни у меня.

1842

\* К -К -К

Пришли и стали тени ночи  
На страже у моих дверей!  
Смелей глядит мне прямо в очи  
Глубокий мрак ее очей;  
Над ухом шепчет голос нежный,  
И змейкой бьется мне в лицо  
Ее волос моей небрежной  
Рукой измятое кольцо.

Помедли, ночь! густою тьмою  
Покрой волшебный мир любви!

Ты, время, дряхлую рукою  
Свои часы останови!

Но покачнулись тени ночи,  
Бегут, шатаясь, назад.  
Ее потупленные очи  
Уже глядят и не глядят;  
В моих руках рука застыла,  
Стыдливо на моей груди  
Она лицо свое сокрыла...  
О солнце, солнце! погоди!

1842

### ЗАТВОРНИЦА

В одной знакомой улице —  
Я помню старый дом,  
С высокой темной лестницей,  
С завешенным окном.  
Там огонек, как звездочка,  
До полночи светил,  
И ветер занавескою  
Тихонько шевелил.  
Никто не знал, какая там  
Затворница жила,  
Какая сила тайная  
Меня туда влекла,  
И что за чудо-девушка  
В заветный час ночной  
Меня встречала, бледная,  
С распущенной косой.  
Какие речи детские  
Она твердила мне:  
О жизни неизведанной,  
О дальней стороне.  
Как не по-детски пламенно,  
Прильнув к устам моим,  
Она дрожа шептала мне:  
«Послушай, убежим!  
Мы будем птицы вольные —  
Забудем гордый свет...  
Где нет людей прощающих,  
Туда возврата нет...»  
И тихо слезы капали —  
И поцелуй звучал —  
И ветер занавескою  
Тревожно колыхал.

1846

## КАЧКА В БУРЮ

Посв. М. Л. Михайлову

Гром и шум. Корабль качает;  
Море темное кипит;  
Ветер парус обрывает  
И в снастях свистит.

Помрачился свод небесный,  
И, вверясь кораблю,  
Я дремлю в каюте тесной...  
Закачало — сплю.

Вижу я во сне: качает  
Няня колыбель мою  
И тихонько напевает —  
«Баюшки-баю!»

Свет лампы на подушках;  
На гардинах свет луны...  
О каких-то все игрушках  
Золотые сны.

Просыпаюсь... Что случилось?  
Что такое? Новый шквал? —  
«Плохо — стеньга обломилась,  
Рулевой упал».

Что же делать? что могу я?  
И, вверясь кораблю,  
Вновь я лег и вновь дремлю я...  
Закачало — сплю.

Снится мне: я свеж и молод,  
Я влюблен, мечты кипят...  
От зари роскошный холод  
Проникает в сад.

Скоро ночь — темнеют ели...  
Слышу ласково-живой,  
Тихий лепет: «На качели  
Сядем, милый мой!»

Стан ее полувоздушный  
Обвила моя рука,  
И качается послушно  
Зыбкая доска...

Просыпаюсь... Что случилось? —  
«Руль оторван; через нос  
Вдоль волна перекатилась,  
Унесен матрос!»

Что же делать? Будь что будет!  
В руки бога отдаюсь:  
Если смерть меня разбудит —  
Я не здесь проснусь.

1850

### ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Мой костер в тумане светит;  
Искры гаснут на лету...  
Ночью нас никто не встретит;  
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет — и спозаранок  
В степь, далеко, милый мой,  
Я уйду с толпой цыганок  
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою  
Ты на мне узлом стяни:  
Как концы ее, с тобою  
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?  
Кто-то завтра, сокол мой,  
На груди моей развяжет  
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,  
Друга милого любя,  
Будет песни петь, играя  
На коленях у тебя!

Мой костер в тумане светит;  
Искры гаснут на лету...  
Ночью нас никто не встретит;  
Мы простимся на мосту.

1853

## КОЛОКОЛЬЧИК

Улеглася метелица... путь озарен...  
Ночь глядит миллионами тусклых очей...  
Погружай меня в сон, колокольчика звон!  
Выноси меня, тройка усталых коней!

Мутный дым облаков и холодная даль  
Начинают яснеть; белый призрак луны  
Смотрит в душу мою — и былую печаль  
Наряжает в забытые сны.

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,  
С колокольчиком дружно звеня:  
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет —  
Отдохнуть на груди у меня!

У меня ли не жизнь!., чуть заря на стекле  
Начинает лучами с морозом играть,  
Самовар мой кипит на дубовом столе,  
И трещит моя печь, озаряя в угле,  
За цветной занавеской, кровать!..

У меня ли не жизнь!., ночью ль ставень открыт  
По стене бродит месяца луч золотой,  
Забушует ли вьюга — лампада горит,  
И, когда я дремлю, мое сердце не спит,  
Все по нем изнывая тоской».

То вдруг слышится мне — тот же голос поет,  
С колокольчиком грустно звеня:  
«Где-то старый мой друг?.. Я боюсь, он войдет  
И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! и тесна, и темна,  
И скучна моя горница; дует в окно.  
За окошком растет только вишня одна,  
Да и та за промерзлым стеклом не видна  
И, быть может, погибла давно!..

Что за жизнь!., полинял пестрый полога цвет,  
Я больная брожу и не еду к родным,  
Побранить меня некому — милого нет,  
Лишь старуха ворчит, как приходит сосед,  
Оттого, что мне весело с ним!..»

1854



## НА ЗАКАТЕ

Вижу я, сизые с золотом тучи  
Загромоздили весь запад; в их шель  
Светит заря,— каменистые кручи,  
Ребра утесов, березник и ель

Озарены вечереющим блеском;  
Ниже — безбрежное море. Из мглы  
Темные скачут и мчатся валы  
С неумолкаемым гулом и плеском.

К морю тропинка в кустах чуть видна,  
К морю схожу я, и —

Здравствуй, волна!

Мне, охлажденному жизнью и светом,  
Дай хоть тебя встретить теплым приветом!..

Но на скалу набежала волна —  
Тяжко обрушилась, в пену зарылась  
И прошумела, отхлынув назад:  
— Новой волны подожди,— я разбилась...

Новые волны бегут и шумят,—  
То же, все то же я слышу от каждой...  
Сердце полно бесконечною жаждой —  
Жду,— все темно — погасает закат...



**Алексей  
Николаевич  
АПУХТИН**

*(1840—1893)*

**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА А. Н. АПУХТИНА**

- 1840, 15(27) ноября — Алексей Николаевич Апухтин родился в городе Волхове Орловской губернии. Детство поэта прошло в имении отца — деревне Павлодар Калужской губернии.
- 1852—1859 — годы учебы в Петербургском училище правоведения. Апухтин редактирует рукописный журнал «Училищный вестник», в стенах училища он — признанный поэт.
- 1854—в газете «Русский инвалид» напечатано стихотворение Апухтина «Эпаминонд», посвященное памяти адмирала В. А. Корнилова. В училище он познакомился с П. И. Чайковским, сохранив эту дружбу на всю жизнь.
- 1859—по рекомендации И. С. Тургенева в журнале «Современник» был напечатан цикл стихотворений Апухтина «Деревенские очерки». Опубликоваться в «Современнике» в то время означало стать знаменитым.
- 1859—1862 — служба в Министерстве юстиции.
- 1862—1865 — служит в родной Орловской губернии чиновником по особым поручениям при губернаторе. Работает над поэмой «Село Колотовка» (осталась незавершенной).
- 70-е годы — Апухтин мало печатается, но стихи его становятся популярными, они расходятся в списках, композиторы сочиняют романсы на слова Апухтина, стихотворения часто читают с эстрады.
- 1886—Выход в свет первого сборника стихотворений поэта. Небывалый успех книги, которая выдержала десять изданий.
- 1893, 17(29) августа — Алексей Николаевич Апухтин скончался в Петербурге.

\* \* \*

Ни отзыва, ни слова, ни привета,  
Пустынею меж нами мир лежит,  
И мысль моя с вопросом без ответа  
Испуганно над сердцем тяготит:

Ужель среди часов тоски и гнева  
Прошедшее исчезнет без следа,  
Как легкий звук забытого напева,  
Как в мрак ночной упавшая звезда?

1867

\* К \* \*

Сухие, редкие, нечаянные встречи,  
Пустой, ничтожный разговор,  
Твои умышленно уклончивые речи,  
И твой намеренно холодный, строгий взор —  
Все говорит, что надо нам расстаться,  
Что счастье было и прошло...

Но в этом так же горько мне сознаться,  
Как кончить с жизнью тяжело.  
Так в детстве, помню я, когда меня будили  
И зимний день глядел в замерзшее окно,—  
О, как остаться там уста мои молили,  
Где так тепло, уютно и темно!  
В подушки прятался я, плача от волненья,  
Дневной тревогой оглушен,  
И засыпал, счастливый на мгновенье,  
Стараясь на лету поймать недавний сон,  
Боясь потерять ребяческие бредни...  
Такой же детский страх теперь объял меня.  
Прости мне этот сон последний  
При свете тусклого, грозящего мне дня!

1869

\*\* \*

Ночи безумные, ночи бессонные,  
Речи несвязные, взоры усталые...  
Ночи, последним огнем озаренные,  
Осени мертвой цветы запоздалые!

Пусть даже время рукой беспощадною  
Мне указало, что было в вас ложного,  
Все же лечу я к вам памятью жадною,  
В прошлом ответа ищу невозможного...  
Вкрадчивым шепотом вы заглушаете  
Звуки дневные, несносные, шумные...  
В тихую ночь вы мой сон отгоняете,  
Ночи бессонные, ночи безумные!

1876

\* \* \*

Из отроческих лет он выходил едва,  
Когда она его безумно полюбила  
За кудри детские, за пылкие слова.  
Семью и мужа — все она тогда забыла!  
Теперь пред юношей, роскошна и пышна,  
Вся жизнь раскинулась, орел расправил крылья,  
И чует в воздухе недоброе она,  
И замирает вся от гневного бессилья.  
В тревоге и тоске ее блуждает взгляд,  
Как будто в нем застыл вопрос и сердце гложет:  
«Где он, что с ним и с кем часы его летят?..»  
Все знать она должна и знать, увы! — не может.  
И мечется она, всем слухам и речам  
Внимая горячо, то веря, то не веря,  
Бесцельной яростью напоминая нам  
Предсмертные прыжки израненного зверя.

1882

\*к -к \*

Мне не жаль, что тобою я не был любим,—  
Я любви недостоин твоей!  
Мне не жаль, что теперь я разлукой томим,—  
Я в разлуке люблю горячей;

Мне не жаль, что и налил и выпил я сам  
Унижения чашу до дна,  
Что к проклятьям моим, и к слезам, и к мольбам  
Оставалася ты холодна;

Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови,  
Мое сердце сжигал и томил,—  
Но мне жаль, что когда-то я жил без любви,  
Но мне жаль, что я мало любил!

1870-е гг.

## ПАРА ГНЕДЫХ

*(Из Донаурова)*

Пара гнедых, запряженных с зарею,  
Тоших, голодных и грустных на вид,  
Вечно бредете вы мелкой рысцою,  
Вечно куда-то ваш кучер спешит.  
Были когда-то и вы рысаками  
И кучеров вы имели лихих,  
Ваша хозяйка состарилась с вами,  
Пара гнедых!

Ваша хозяйка в старинные годы  
Много имела хозяев сама,  
Опытных в дом привлекала из моды,  
Более нежных сводила с ума.  
Таял в объятьях любовник счастливый,  
Таял порой капитал у иных;  
Часто стоять на конюшне могли вы,  
Пара гнедых!

Грек из Одессы и жид из Варшавы,  
Юный корнет и седой генерал —  
Каждый искал в ней любви и забавы  
И на груди у нее засыпал.  
Где же они, в какой новой богине  
Ищут теперь идеалов своих?  
Вы, только вы и верны ей доныне,  
Пара гнедых!

Вот отчего, запрягаясь с зарею  
И голодая по несколько дней,  
Вы подвигаетесь мелкой рысцою  
И возбуждаете смех у людей.  
Старость, как ночь, вам и ей угрожает,  
Говор толпы невозвратно затих,  
И только кнут вас порою ласкает,  
Пара гнедых!

*1870-е гг.*

## ПАМЯТИ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Ни у домашнего, простого камелька,  
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной  
Нам не забыть его, седого старика,  
С улыбкой едкою, с душою благосклонной!

Ленивой поступью прошел он жизни путь,  
Но мыслью обнял всё, что на пути заметил,  
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть,  
Он был как голубь чист и как младенец светел.

Искусства, знания, события наших дней —  
Всё отклик верный в нем будило неизбежно,  
И словом, брошенным на факты и людей,  
Он клейма вечные накладывал небрежно...

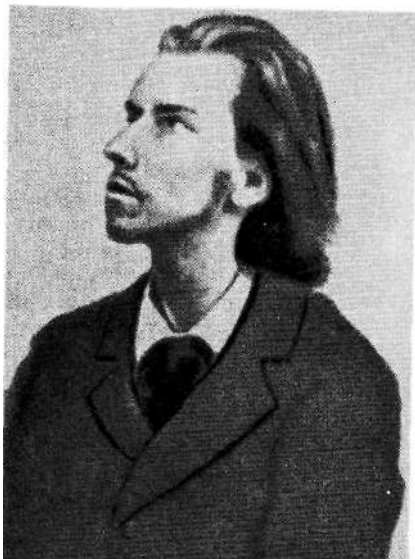
Вы помните его в кругу его друзей?  
Как мысли сыпались нежданные, живые,  
Как забывали мы под звук его речей  
И вечер длившийся, и годы прожитые!

В нем злобы не было. Когда ж он говорил,  
Язвительно смеясь над жизнью или веком,  
То самый смех его нас с жизнью мирил,  
А светлый лик его мирил нас с человеком!

1875

## **Константин Михайлович ФОФАНОВ**

*(1862—1911)*



### **КРАТКАЯ БИОХРОНИКА К. М. ФОФАНОВА**

- 1862, 18(30) мая — в Петербурге в небогатой купеческой семье родился Константин Михайлович Фофанов. Систематического образования он не получил, но с детства страстно любил читать, особенно биографии известных поэтов. Увлекался поэзией Некрасова. На всю жизнь кумиром Фофанова стал Пушкин.
- 1881—начало литературной деятельности К. М. Фофанова. В различных петербургских журналах появляются стихотворения молодого поэта.
- 1887— выход в свет первого поэтического сборника К. М. Фофанова «Стихотворения». Талант поэта заметили Я. П. Полонский, Д. С. Мережковский, А. П. Чехов.
- 1889— издание второго сборника стихотворений.
- 1892— выход в свет поэтической книги «Тени и тайны», которая принесла Фофанову известность поэта «неясных видений и смутных настроений».
- 1896— издано собрание стихотворений Фофанова в пяти частях.
- 1900—выход в свет сборника стихотворений «Иллюзии».
- 1911—Константин Михайлович Фофанов скончался в одной из петербургских больниц.

\* \* \*

Весенней полночью бреду домой усталый.  
Огромный город спит, дремотою объят.  
Немеркнувший закат дробит свой отблеск алый  
В окошках каменных громад.

За спящею рекой, в лиловой бледной дали,  
Темнеет и садов и зданий тесный круг.  
Вот дрожки поздние в тиши продребезжали,  
И снова тишина вокруг.

И снова город спит, как истукан великий,  
И в этой тишине мне чудятся порой  
То пьяной оргии разнузданные крики,  
То вздохи нищеты больной.

1882

## ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Остывает запад розовый,  
Ночь увлажнена дождем.  
Пахнет почкою березовой,  
Мокрым щебнем и песком.

Пронеслась гроза над рощею,  
Поднялся туман с равнин.  
И дрожит листвою тощею  
Мрак испуганных вершин.

Спит и бредит полночь вешняя,  
Робким холодом дыша.  
После бурь весна безгрешнее,  
Как влюбленная душа.

Вспышкой жизнь ее сказалася,  
Ей любить пришла пора.  
Засмеялась, разрыдалась  
И умолкла до утра!..

1892



\* \* \*

Как стучит уныло маятник,  
Как темно горит свеча;  
Как рука твоя дрожащая  
Беспокойно горяча!

Очи ясные потуплены,  
Грустно никнет голова,  
И в устах твоих прощальные  
Не домолвлены слова.

Под окном шумят и мечутся  
Ветки кленов и берез...  
Без улыбок мы встречались  
И расстанемся без слез.

Только что-то не досказано  
В наших думах роковых,  
Только сердцу несогретому  
Жаль до боли дней былых.

Ум ли ищет оправдания,  
Сердце ль памятью живет  
И за смутное грядущее  
Прошлых мук не отдает?

Или две души страдающих,  
Озарив любовью даль,  
Лучезарным упованием  
Могут сделать и печаль?

1893

\* \* \*

Потуши свечу, занавесь окно.  
По постелям все разбрелись давно.  
Только мы не спим, самовар погас,  
За стеной часы бьют четвертый раз!

До полуночи мы украдкою  
Увлекались речью сладкою:  
Мы замыслили много чистых дел...  
До утра б сидеть, да всему предел!..

Ты задумался, я сажу — молчу...  
Занавесь окно, потуши свечу!..

1881

\* \* \*

Пел соловей, цветы благоухали.  
Зеленый май, смеясь, шумел кругом.  
На небесах, как на остывшей стали  
Алеет кровь,— алеет закат огнем.

Он был один, он — юноша влюбленный,  
Вступивший в жизнь, как в роковую дверь,  
И он летел мечтою окрыленной  
К ней, только к ней,— и раньше и теперь.

И мир пред ним таинственным владыкой  
Лежал у ног, сиял со всех сторон,  
Насыщенный весь полночью безликой  
И сладкою весною напоен.

Он ждал ее, в своей разлуке скорбной,  
Весь счастье, весь трепет и мечта...  
А эта ночь, как сфинкс женоподобный,  
Темнила взор и жгла его уста.

1897

•к •к \*

Догорает мой светильник.  
Все стучит, стучит будильник,  
Отбивая дробь минут;  
Точно капли упадают  
В бездну вечности — и тают,—  
И опять, опять живут!

Ночь морозна. Небо звездно,  
Из него мерцает грозно  
Вечность мудрая сама.  
Сад в снегу, беседка тоже,  
И горит в алмазной дрожи  
Темных елок бахрама...

1907

**АНТОН  
Павлович  
ЧЕХОВ**

(1860—1904)



**КРАТКАЯ БИОХРОНИКА А. П. ЧЕХОВА**

- 1860, 17 (29) января — родился Антон Павлович Чехов в городе Таганроге.
- 1869—1879 — годы учебы в Таганрогской классической гимназии.
- 1879—поступил на медицинский факультет Московского университета.
- 1880, 9 марта — первая публикация писателя «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху» в петербургском юмористическом еженедельнике «Стрекоза».
- 1884, июнь — окончание Московского университета.
- 1884—вышел из печати первый сборник рассказов «Сказки Мельпомены».
- 1886, май — вышла книга «А. Чехонте (Ан. П. Чехов). Пестрые рассказы».
- 1887—вышли в свет книги «В сумерках. Очерки и рассказы», «Невинные речи». Премьера комедии «Иванов» в Московском театре Ф. А. Корша.
- 1888, март — начало сотрудничества в «толстых» журналах. Публикация в «Северном вестнике» повести «Степь».
- 1888, 7 октября — Чехову присуждена академическая Пушкинская премия.
- 1888, 28 октября — первый спектакль водевиля «Медведь» в театре Ф. А. Корша в Москве.

- 1890, март — вышел сборник «Хмурые люди» с посвящением П. И. Чайковскому.
- 1890, июль—октябрь — пребывание на Сахалине.
- 1891—1892 — участие в борьбе с голодом (Нижегородская, Воронежская, Московская губернии).
- 1892, июль—ноябрь — борьба с надвигающейся эпидемией холеры. Заведование Мелиховским холерным участком. Участие в санитарном съезде в Серпухове.
- 1895, лето — выход в свет книги «Остров Сахалин».
- 1895, август — первая поездка в Ясную Поляну, к Л. Н. Толстому.
- 1895, 17 октября — первая постановка «Чайки» на сцене Александринского театра в Петербурге. Провал пьесы.
- 1897— работа по народной переписи. Заведование переписным участком.
- 1898—в связи с ухудшением здоровья А. П. Чехов решает поселиться в Ялте.
- 1898, декабрь — исключительный успех первой постановки «Чайки» в Художественном театре в Москве.
- 1899, апрель — сентябрь — посещение Москвы, встречи с Л. Н. Толстым, М. Горьким.
- 1899, октябрь — премьера «Дяди Вани» в Художественном театре.
- 1900, январь — избрание почетным академиком Российской Академии наук по разряду изящной словесности.
- 1900, май—июнь — путешествие с М. Горьким и художником В. М. Васнецовым по Кавказу.
- 1901, январь — премьера спектакля «Три сестры» в Художественном театре в Москве.
- 1901, май — приезд в Москву. Женитьба на О. Л. Книппер. Отъезд в санаторий в Уфимскую губернию, посещение М. Горького в Нижнем Новгороде.
- 1901, ноябрь—декабрь — приезд М. Горького в Ялту. Частые встречи с Чеховым. Совместные посещения больного Л. Н. Толстого. Чехова посещают А. Куприн, И. Бунин и другие писатели.
- 1902, август — Чехов отказывается от звания почетного академика в знак протеста против исключения М. Горького из состава академиков.
- 1904, 17 января — премьера «Вишневого сада» в Художественном театре, приуроченная ко дню рождения Чехова.
- 1904, 2 июля — в три часа ночи Антон Павлович Чехов скончался в курортном городке Баденвейлере (Германия).
- 1904, 9 июля — похороны А. П. Чехова в Москве, на Новодевичьем кладбище.

## ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его по всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, — кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблю-

далось постоянное непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!<sup>1</sup>

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено: запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, — ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, — и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, — знаете, маленьком лице, как у хорька, — он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить

<sup>1</sup> *Антропос* — человек.

к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей<sup>1</sup> и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать чтобы скромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

— Много уж *их* нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забралась вора, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что

<sup>1</sup> *Бокль Генри Томас* (1821 — 1862) — английский либеральный историк и социолог, автор труда «История цивилизации в Англии», в котором он выступал против деспотизма, за развитие демократических начал в общественной жизни; был очень популярен в России.

многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

— Очень уж шумят у нас в классах,— говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству.— Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в фуляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая,— одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и залетится голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены<sup>1</sup>: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала,— всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадяцком уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красенькими и синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить,— тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли,

<sup>1</sup> По древнегреческому мифу, Афродита (в римской мифологии — Венера), богиня любви и красоты, возникла из морской пены.



что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать...— пояснила свою мысль директорша.— Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот, к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клешами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко.— Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Видюют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, ин-

тересна, она была дочь статского советника<sup>1</sup> и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно,— голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик,— проговорил Иван Иванович.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил ни сколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится,— говорил он мне со слабой кривой улыбочкой,— и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему.— Женитесь, вот и все.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то странно и характер очень бойкий. Женишься, а потом попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение, и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Scandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю,— говорил он, пожимая плечами,— не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновники, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал у меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотреть.

<sup>1</sup> *Статский советник* — по «табели о рангах», чин пятого класса.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук»<sup>1</sup>. И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому,— это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу,— выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы,— кричит она,— вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

— Позвольте, что же это такое? — спросил он.— Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я.— И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию.— Что вы говорите?

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо! И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу,— проговорил Коваленко хо-

<sup>1</sup> «Глитай абож паук» — мироед или паук (*унр.*), по названию пьесы украинского драматурга М. Кропивницкого (1840—1910).

лодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Як вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке,— напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел надувшись и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно! Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же, собственно, вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич.— Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя<sup>1</sup>... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел.— А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать,— сказал он.— И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой.— Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выра-

<sup>1</sup> *Попечитель* — должностное лицо, руководившее некоторыми учреждениями (здесь: учебными заведениями).

жением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. — Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, — ах, как бы чего не вышло? — нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, залихватным «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас бы-

ли скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть,— сказал Иван Иванович и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть,— повторил Иван Иванович.— А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать,— сказал Буркин.— До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая: пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит,— сказал Буркин.

Шаги затихли.

<sup>1</sup> *Винт* — карточная игра.

— Видеть и слышать, как лгут,— проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок,— и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смея открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена,— нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иванович,— сказал учитель.— Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иванович все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

1898

## ИОНЫЧ

### I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, художавая, миловидная дама в *pin-se-pez*, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже в девяти

<sup>1</sup> *Земский врач* — в дореволюционной России — врач, работавший в сельской местности.

верстах от С, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...<sup>1</sup>

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах, ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — *elites que Ton nous donne du the*<sup>2</sup>.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и милостивую. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ла-

<sup>1</sup> Романс на слова А. А. Дельвига.

<sup>2</sup> скажи, чтобы нам дали чаю (*фр.*)-



сково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника,— читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли,— не хотелось вставать...

— Недурственно...— тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет,— отвечала она,— я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкафу. Для чего печатать? — пояснила она.— Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь,— сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплется камни, сыплется и все сыплется, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки,— было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла как никогда,— сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала.— Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению.— Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны.— В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна.— Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: болынинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный...<sup>1</sup>

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

<sup>1</sup> Романс А. Г. Рубинштейна на стихи А. С. Пушкина.

## II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перепробовали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле,— говорил он, идя за ней,— потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю,— продолжал Старцев,— а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного

разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с — ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь.— Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ»,— ответила Котик.— А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому.— Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня в одиннадцать часов вечера,— прочел Старцев,— будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно,— подумал он, придя в себя.— При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности,— думал он.— Котик тоже странная, и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет» — и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по

обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое,— мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота,— уже было темно, как в осеннюю ночь,— потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах,— сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало»,— думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну, что ж? — думал он.— И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней,— продолжал кусочек,— то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну, что ж? — думал он.— В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, и только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего,— сказал Иван Петрович,— поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь,— говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску,— он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище,— начал Старцев.— Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг

вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно,— сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Поезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прощу, умоляю вас,— выговорил наконец Старцев,— будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч,— сказала Екатерина Ивановна, с очень серьезным выражением подумав.— Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но...— она встала и продолжала стоя,— но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех...— у нее слезы навернулись на глазах,— я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...— И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено,— он не ожидал отказа,— и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

#### IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнил, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик и заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся не-



заметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапишано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нему, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. /С»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами.— Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской невинности. И во взгляде и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала.— Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем, вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже не доставало в ней, или что-то было лишнее,— он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад,— и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен,— думал он,— не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно,— сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился»,— подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим,— сказала она, подходя к нему.— Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас,— продолжала она нервно,— я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала,— бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдёмте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку,— ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь,— сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо,— но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он.— Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом.— Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хулиганов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так люби-

ли говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как и все, и ничего во мне не было особенного: я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже на заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази, — сказал он, обращаясь в переднюю к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руки и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. *Ваша Е. Т.*»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой б пол и кричит своим неприятным голосом:

— Ивольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старший и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то чего доброго рассердится вдруг и станет стучать палкой б пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно,

с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

1898

## ДАМА С СОБАЧКОЙ

### I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых,— соображал Гуров,— то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, что-бы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно раз-

нообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно.

И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается, — сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а придет сюда: «Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, придет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где слу-

жит ее муж,— в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, всё равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым,— должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки»,— подумал он и стал засыпать.

## II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше,— сказал он.— Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам...— проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких,— как, например, его жена,— которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут всё та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров.— Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же,— говорила я себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной



что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю,— сказал он тихо,— что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас...— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно...— бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц,— сказал Гуров.— Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож,— посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве,— сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и всё просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю,— говорила она Гурову.— Это сама судьба.

Она поехала на лошадах, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробили второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать,— говорила она.— Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно всё сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытьё, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще однохождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидит-

ся, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но всё же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Всё время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь, на станции, уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север,— думал Гуров, уходя с платформы.— Пора!»

### III

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него всё очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти всё было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались всё сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась

красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свиданье, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме — это недалеко от гос-

тиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так, Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь»,— думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и всё равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положить на случай. И он всё ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил и всё больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как всё это глупо и беспокойно,— думал он, проснувшись и глядя на темные окна; был уже вечер.— Вот и выспался за чем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях»,— думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Всё время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда

Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал:

«О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что всё кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, всё еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы крепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. —

Я всё время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было всё равно, он привлек к себе Анну Сергеевну, и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя.— Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать...— продолжала Анна Сергеевна шёпотом.— Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда всё утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

#### IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни,— и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег,— говорил Гуров дочери.— Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо,

в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи,— всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он.— Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу»,— подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она всё стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы немислимо сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил,



расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он любил, как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая,— говорил он.— Поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову.— Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

# ЧАЙКА

*Комедия в четырех действиях*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса.  
Константин Гаврилович Треплев, ее сын, молодой человек.  
Петр Николаевич Сорин, ее брат.  
Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика.  
Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина.  
Полина Андреевна, его жена.  
Маша, его дочь.  
Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист.  
Евгений Сергеевич Дорн, врач.  
Семен Семенович Медведенко, учитель.  
Яков, работник.  
Повар.  
Горничная.

Действие происходит в усадьбе Сорина.— Между третьим и четвертым действием проходит два года.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Часть парка в именин Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник.

Несколько стульев, столик.

Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? (*В раздумье*). Не понимаю... Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне жи-

вется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура.

Садятся.

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.

Медведенко. Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего двадцать три рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись.

Маша (*оглядываясь на эстраду*). Скоро начнется спектакль.

Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня большая... Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?

Маша. Пустяки. (*Нюхает табак.*) Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. (*Протягивает ему табакерку.*) Одолжайтесь.

Медведенко. Не хочется.

Пауза.

Маша. Душно, должно быть ночью будет гроза. Вы всё философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам не понять этого...

Входят справа Сорин и Треплев.

Сорин (*опираясь на трость*). Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким чувством, как будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу и все такое. (*Смеется.*) А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов...

Треплев. Правда, тебе нужно жить в городе. (*Увидев Машу и Медведенку.*) Господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.

Сорин (*Маше*). Марья Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воеет. Сестра опять всю ночь не спала.

Маша. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. (*Медведенку.*) Пойдемте!

Медведенко (*Треплеву*). Так вы перед началом пришли-те сказать.

С о р и н. Значит, опять всю ночь будет вить собака. Вот история, никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на двадцать восемь дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть и все, но тут тебя так доймают всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. (*Смеется.*) Всегда я уезжал отсюда с удовольствием... Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда в конце концов. Хочешь — не хочешь, живи...

Яков (*Треплеву*). Мы, Константин Гаврилыч, купаться пойдем.

Треплев. Хорошо, только через десять минут будьте на местах. (*Смотрит на часы.*) Скоро начнется.

Яков. Слушаю. (*Уходит.*)

Треплев (*окидывая взглядом эстраду*). Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.

С о р и н. Великолепно.

Треплев. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. (*Поправляет дяде галстук.*) Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

Сорин (*расчесывая бороду*). Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил — и все. Меня никогда не любили женщины. (*Садясь.*) Отчего сестра не в духе?

Треплев. Отчего? Скучает. (*Садясь рядом.*) Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.

Сорин (*смеется*). Выдумашь, право...

Треплев. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (*Посмотрев на часы.*) Психологический курьез — моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней Дузе. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «*La dame aux camélias*»<sup>1</sup> или в «Чад жизни», но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы — ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч — это я знаю наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.

<sup>1</sup> «Дама с камелиями» (*фр.*).

Сорин. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься и все. Успокойся, мать тебя обожает.

Треплев (*обрывая у цветка лепестки*). Любит — не любит, любит — не любит, любит — не любит. (*Смеется.*) Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр — это рутина, предрасунок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью.

Сорин. Без театра нельзя.

Треплев. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно. (*Смотрит на часы.*) Я люблю мать, сильно люблю; но она ведет бестолковую жизнь, вечно носится с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах, — и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь всё знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я — ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я — киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество, — я угадывал их мысли и страдал от унижения...

Сорин. Кстати скажи, пожалуйста, что за человек этот беллетрист? Не поймешь его. Все молчит.

Треплев. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло... Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо... но... после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина.

Сорин. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно

хотел двух вещей: хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть в конце концов.

Треплев (*прислушивается*). Я слышу шаги... (*Обнимает дядю.*) Я без нее жить не могу... Даже звук ее шагов прекрасен... Я счастлив безумно. (*Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит.*) Волшебница, мечта моя...

Нина (*взволнованно*). Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплев (*целуя ее руки*). Нет, нет, нет...

Нина. Весь день я беспокоилась, мне было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня... Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. (*Смеется.*) Но я рада. (*Крепко жмет руку Сорина.*)

Сорин (*смеется*). Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Нехорошо!

Нина. Это так... Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, бога ради не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.

Треплев. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех.

Сорин. Я схожу и все. Сию минуту. (*Идет вправо и поет.*) «Во Францию два гренадера...» (*Оглядывается.*) Раз так же вот я запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: «А у вас, ваше превосходительство, голос сильный...» Потом подумал и прибавил: «Но... противный». (*Смеется и уходит.*)

Нина. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру, как чайку... Мое сердце полно вами. (*Оглядывается.*)

Треплев. Мы одни.

Нина. Кажется, кто-то там...

Треплев. Никого. (*Поцелуй.*)

Нина. Это какое дерево?

Треплев. Вяз.

Нина. Отчего оно такое темное?

Треплев. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Нина. Нельзя.

Треплев. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.

Нина. Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Треплев. Я люблю вас.

Нина. Тсс...

Треплев (*услышав шаги*). Кто там? Вы, Яков?

Яков (*за эстрадой*). Точно так.

Треплев. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит? Яков. Точно так.

Треплев. Спирт есть? Сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. *(Нине.)* Идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь?..

Нина. Да, очень. Ваша мама — ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин... Играть при нем мне страшно и стыдно... Известный писатель... Он молод?

Треплев. Да.

Нина. Какие у него чудесные рассказы!

Треплев *(холодно)*. Не знаю, не читал.

Нина. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Треплев. Живые лица! Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах.

Нина. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь...

Оба уходят за эстраду.

Входят Полина Андреевна и Дорн.

Полина Андреевна. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.

Дорн. Мне жарко.

Полина Андреевна. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы — доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе...

Дорн *(напевает)*. «Не говори, что молодость сгубила».

Полина Андреевна. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...

Дорн. Мне пятьдесят пять лет.

Полина Андреевна. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам.

Дорн. Так что же вам угодно?

Полина Андреевна. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!

Дорн *(напевает)*. «Я вновь пред тобою...» Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это — идеализм.

Полина Андреевна. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм?

Дорн *(пожав плечами)*. Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом восходного врача. Лет десять — пятнадцать назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.

Полина Андреевна (*хватает его за руку*). Дорогой мой!

Дорн. Тише. Идут.

Входят Аркадина под руку с Сориним, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша.

Шамраев. В тысяча восемьсот семьдесят третьем году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! Чудно играла! Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч? В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь?

Аркадина. Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю! (*Садится.*)

Шамраев (*вздыхнув*). Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.

Дорн. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.

Шамраев. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. *De gustibus aut bene, aut nihil*<sup>1</sup>.

Треплев выходит из-за эстрады.

Аркадина (*сыну*). Мой милый сын, когда же начало?

Треплев. Через минуту. Прошу терпения.

Аркадина (*читает из Гамлета*). «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах — нет спасенья!»

Треплев (*из Гамлета*). «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья?»

За эстрадой играют в рожок.

Господа, начало! Прошу внимания!

Пауза.

Я начинаю. (*Стучит палочкой и говорит громко.*) О вы, почтенные, старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет.

Треплев. Так вот пусть изобразят нам это ничего.

Аркадина. Пусть. Мы спим.

Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом.

<sup>1</sup> О вкусах — или хорошо, или ничего. Сочетание двух латинских изречений: «О вкусах не спорят» и «О мертвых — или хорошо, или ничего».



Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угазли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

Пауза.

Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пивяки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, йсе, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.

Показываются болотные огни.

Аркадина (*тихо*). Это что-то декадентское.

Треплев (*умоляюще и с упреком*). Мама!

Нина. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит... И вы, бледные огни, не слышите меня... Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух.

Пауза.

Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, и после того материя и дух сольются в гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли. Но это будет, лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас...

Пауза; на фоне озера показываются две красных точки.

Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза...

Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно?

Треплев. Да.

Аркадина (*смеется*). Да, это эффект.

Треплев. Мама!

Нина. Он скучает без человека...

Полина Андреевна (*Дорну*). Вы сняли шляпу. Надевайте, а то простудитесь.

Аркадии а. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Треплев (*вспыхив, громко*). Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

Аркадии а. Что же ты сердишься?

Треплев. Довольно! Занавес! Подавай занавес! (*Топнув ногой.*) Занавес!

Занавес опускается.

Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне... я... (*Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево.*)

Аркадии а. Что с ним?

Сорин. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.

Аркадии а. Что же я ему сказала?

Сорин. Ты его обидела.

Аркадии а. Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе, как к шутке.

Сорин. Все-таки...

Аркадии а. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите пожалуйста! Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации... Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец, это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.

Сорин. Он хотел доставить тебе удовольствие.

Аркадии а. Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А, по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.

Тригорин. Каждый пишет так, как хочет и как может.

Аркадии а. Пусть он пишет, как хочет и как может, только пусть оставит меня в покое.

Дорн. Юпитер, ты сердишься...

Аркадии а. Я не Юпитер, а женщина. (*Закуривает.*) Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.

Медведенко. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. (*Живо, Тригорину.*) А вот, знаете ли, опи-

сать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат — учитель. Трудно, трудно живется!

Аркадия а. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный! Слышите, господа, поют? (*Прислушивается.*) Как хорошо!

Полина Андреевна. Это на том берегу.

Пауза.

Аркадина (*Тригорину*). Сядьте возле меня. Лет десять — пятнадцать назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы... Jeune premier'ом и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую (*кивает на Дорна*), доктор Евгений Сергеич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. (*Громко.*) Костя! Сын! Костя!

Маша. Я пойду поищу его.

Аркадина. Пожалуйста, милая.

Маша (*идет влево*). Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! (*Уходит.*)

Нина (*выходя из-за эстрады*). Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! (*Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.*)

Сорин. Bravo! bravo!

Аркадина. Bravo, bravo! Мы любовались. С такою наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Нина а. О, это моя мечта! (*Вздыхнув.*) Но она никогда не осуществится.

Аркадина. Кто знает? Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.

Нина. Ах, я так рада... (*Сконфузившись.*) Я всегда вас читаю...

Аркадина (*усаживая ее возле*). Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.

Дорн. Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.

Шамраев (*громко*). Яков, подними-ка, братец, занавес!

Занавес поднимается.

Нина (*Тригорину*). Не правда ли, странная пьеса?

Тригорин. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная.

Первым любовником (*фр.*) — театральное амплуа.

Пауза.

Должно быть, в этом озере много рыбы.

Нина. Да.

Тригорин. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.

Нина. Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.

Аркадина (*смеясь*). Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.

Шамраев. Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галереи: «Браво, Сильва!» — целую октавой ниже... Вот этак (*низким баском*): браво, Сильва... Театр так и замер.

Пауза.

Дорн. Тихий ангел пролетел.

Нина. А мне пора. Прощайте.

Аркадина. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим.

Нина. Меня ждет папа.

Аркадина. Какой он, право...

Целуются.

Ну, что делать. Жаль, жаль вас отпускать.

Нина. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!

Аркадина. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка.

Нина (*испуганно*). О нет, нет!

Сорин (*ей, умоляюще*). Оставайтесь!

Нина. Не могу, Петр Николаевич.

Сорин. Оставайтесь на один час и все. Ну, что, право...

Нина (*подумав, сквозь слезы*). Нельзя! (*Пожимает руку и быстро уходит.*)

Аркадина. Несчастливая девушка в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно.

Дорн. Да, ее папенька порядочная-таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

Сорин (*потирая озябшие руки*). Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят.

Аркадина. Они у тебя, как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. (*Берет его под руку.*)

Шамраев (*подавая руку жене*). Мадам?

Сорин. Я слышу, опять воеет собака. (*Шамраеву.*) Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее.

Ш а м р а е в. Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у меня просо. (*Идущему рядом Медведенку.*) Да, на целую октаву ниже: «Браво, Сильва!» А ведь не певец, простой синодальный певчий.

Медведенко. А сколько жалованья получает синодальный певчий?

Все уходят, кроме Дорна.

Дорн (*один*). Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть. Когда эта девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно... Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного.

Треплев (*входит*). Уже нет никого.

Дорн. Я здесь.

Треплев. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.

Дорн. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать.

Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто.

Фуй, какой нервный. Слезы на глазах... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны!

Треплев. Так вы говорите — продолжать?

Дорн. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.

Треплев. Виноват, где Заречная?

Дорн. И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе, если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас.

Треплев (*нетерпеливо*). Где Заречная?

Дорн. Она уехала домой.

Треплев (*в отчаянии*). Что же мне делать? Я хочу ее видеть... Мне необходимо ее видеть... Я поеду...

М а ш а входит.

Дорн (*Треплеву*). Успокойтесь, мой друг.

Треплев. Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

Маша. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

Треплев. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

Дорн. Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо.

Треплев *(сквозь слезы)*. Прощайте, доктор. Благодарю... *(Уходит.)*

Дорн *(вздыхнув)*. Молодость, молодость!

Маша. Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость... *(Нюхает табак.)*

Дорн *(берет у нее табакерку и швыряет в кусты)*. Это гадко!

Пауза.

В доме, кажется, играют. Надо идти.

Маша. Погодите.

Дорн. Что?

Маша. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... *(Волнуясь.)* Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своею жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Дорн. Что? В чем помочь?

Маша. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! *(Кладет ему голову на грудь, тихо.)* Я люблю Константина.

Дорн. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! *(Нежно.)* Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?

*Занавес.*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадия и, Дорн и М а ш а. У Дорна на коленях раскрытая книга.

Аркадия *(Маше)*. Вот встанемте.

Обе встают.

Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеич, кто из нас моложе?

Дорн. Вы, конечно.

Аркадия. Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите всё на одном месте, не живете... И у меня правило: не заглядывать в будущее. Я нико-

да не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

Маша. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить. *(Садится.)* Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.

Дорн *(напевает тихо)*. «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Аркадии а. Затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut<sup>1</sup>. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... *(Подбоченясь, прохаживается по площадке.)* Вот вам,— как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть.

Дорн. Ну-с, тем не менее все-таки я продолжаю. *(Берет книгу.)* Мы остановились на лабазнике и крысах...

Аркадии а. И крысах. Читайте. *(Садится.)* Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. *(Берет книгу и ищет в ней главами.)* И крысах... Вот оно... *(Читает.)* «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполнить, она осаждаёт его посредством комплиментов, любезностей и угождений...» Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполнить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

Идет Сорин, опираясь на трость, и рядом с ним Нина;  
Медведеenko катит за ними пустое кресло.

Сорин *(тоном, каким ласкают детей)*. Да? У нас радость? Мы сегодня веселы в конце концов? *(Сестре.)* У нас радость! Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня.

Нина *(садится рядом с Аркадиной и обнимает ее)*. Я счастлива! Я теперь принадлежу вам.

Сорин *(садится в свое кресло)*. Она сегодня красивенькая.

Аркадии а. Нарядная, интересная... За это вы умница. *(Целует Нину.)* Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?

Нина. Он в купальне рыбу удит.

Аркадии а. Как ему не надоест! *(Хочет продолжать читать.)*

Нина. Это вы что?

<sup>1</sup> как надлежит *(фр.)*.

Аркадии а. Мопассан «На воде», милочка. (*Читает несколько строк про себя.*) Ну, дальше неинтересно и неверно. (*Закрывает книгу.*) Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу.

М а ш а. У него нехорошо на душе. (*Нине, робко.*) Прошу вас, прочтите из его пьесы!

Нина (*пожав плечами*). Вы хотите? Это так неинтересно!

Маша (*сдерживая восторг*). Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос; а манеры, как у поэта.

Слышно, как храпит Сорин.

Дорн. Спокойной ночи!

Аркадии а. Петруша!

Сорин. А?

Аркадии а. Ты спишь?

Сорин. Нисколько.

Пауза.

Аркадии а. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат.

Сорин. Я рад бы лечиться, да вот доктор' не хочет.

Дорн. Лечиться в шестьдесят лет!

Сорин. И в шестьдесят лет жить хочется.

Дорн (*досадливо*). Э! Ну, принимайте валериановые капли.

Аркадии а. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды.

Дорн. Что ж? Можно поехать. Можно и не поехать.

Аркадии а. Вот и пойми.

Дорн. И понимать нечего. Все ясно.

Пауза.

Медведенко. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.

Сорин. Пустяки.

Дорн. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; у вас расплывается ваше я, и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу — он.

Сорин (*смеется*). Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я? Я прослужил по судебному ведомству двадцать восемь лет, но еще не жил, ничего не испытал в конце концов и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому имеете склонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес и курю сигары и все. Вот и все.

Дорн. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.



Маша (*встает*). Завтракать пора, должно быть. (*Идет лениво, вяло походкой.*) Ногу отсидела... (*Уходит.*)

Дорн. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит.

Сорин. Личного счастья нет у бедняжки.

Дорн. Пустое, ваше превосходительство.

Сорин. Вы рассуждаете, как сытый человек.

Аркадии а. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют... Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но... сидеть у себя в номере и учить роль — куда лучше!

Нина (*восторженно*). Хорошо! Я понимаю вас.

Сорин. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада, телефон... на улице извозчики и все...

Дорн (*напевает*). «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Входит Шамраев, за ним Полина Андреевна.

Шамраев. Вот и наши. Добрый день! (*Целует руку у Аркадиной, потом у Нины.*) Весьма рад видеть вас в добром здорье. (*Аркадиной.*) Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?

Аркадии а. Да, мы собираемся.

Шамраев. Гм... Это великолепно, но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?

Аркадии а. На каких? Почему я знаю — на каких!

Сорин. У нас же выездные есть.

Шамраев (*волнуясь*). Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!

Аркадии а. Но если я должна ехать? Странное дело!

Шамраев. Многоуважаемая! Вы не знаете, что значит хозяйство!

Аркадина (*вспылив*). Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажете нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком!

Шамраев (*вспылив*). В таком случае я отказываюсь от места! Ищите себе другого управляющего! (*Уходит.*)

Аркадина. Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет! (*Уходит влево, где предполагается купальня; через минуту видно, как она проходит в дом; за нею идет Тригорин с удочками и с ведром.*)

Сорин (*вспылив*). Это нахальство! Это черт знает что такое! Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей!

Нина (*Полине Андреевне*). Отказать Ирине Николаевне,

знаменитой артистке! Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!

Полина Андреевна (*в отчаянии*). Что я могу? Войдите в мое положение: что я могу?

Сорин (*Нине*). Пойдемте к сестре... Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? (*Глядя по направлению, куда ушел Шамраев.*) Невыносимый человек! Деспот!

Нина (*мешая ему встать*). Сидите, сидите... Мы вас доведем... (*Она и Медведеenko катят кресло.*) О, как это ужасно!..

Сорин. Да, да, это ужасно... Но он не уйдет, я сейчас поговорю с ним.

Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.

Дорн. Люди скучны. В сущности следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите!

Полина Андреевна. Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболела; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. (*Умоляюще.*) Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать...

Пауза.

Дорн. Мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь.

Полина Андреевна. Я знаю, вы отказываете мне, потому что, кроме меня, есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам.

Нина показывается около дома; она рвет цветы.

Дорн. Нет, ничего.

Полина Андреевна. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю...

Дорн (*Нине, которая подходит*). Как там?

Нина. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма.

Дорн (*встает*). Пойти дать обоим валериановых капель...

Нина (*подает ему цветы*). Извольте!

Дорн. Merci bien<sup>1</sup>. (*Идет к дому.*)

Полина Андреевна (*идя с ним*). Какие миленькие цветы! (*Около дома, глухим голосом.*) Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы! (*Получив цветы, рвет их и бросает в сторону; оба идут в дом.*)

<sup>1</sup> Весьма благодарен (*фр.*).

Нина (*одна*). Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух голлавлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу, и своею славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...

Треплев (*входит без шляпы, с ружьем и с убитой чайкой*). Вы одни здесь?

Нина. Одна.

Треплев кладет у ее ног чайку.

Что это значит?

Треплев. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.

Нина. Что с вами? (*Поднимает чайку и глядит на нее.*)

Треплев (*после паузы*). Скоро таким же образом я убью самого себя.

Нина. Я вас не узнаю.

Треплев. Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас.

Нина. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ, но, простите, я не понимаю... (*Кладет чайку на скамью.*) Я слишком проста, чтобы понимать вас.

Треплев. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив! Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много... (*Топнув ногой.*) Как это я хорошо понимаю, как понимаю! У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея... (*Увидев Тригорина, который идет, читая книжку.*) Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. (*Дразнит.*) «Слова, слова, слова...» Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. (*Уходит быстро.*)

Тригорин (*записывая в книжку*). Нюхает табак и пьет водку... Всегда в черном. Ее любит учитель...

Нина. Здравствуйте, Борис Алексеевич!

Тригорин. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых и интересных, я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя в восемнадцать-девятнадцать лет, и потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете, и вообще что вы за штучка.

Нина. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Тригорин. Зачем?

Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Тригорин. Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. *(Подумав.)* Что-нибудь из двух: или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается.

Нина. А если читаете про себя в газетах?

Тригорин. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Нина. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, — вы один из миллиона, — выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... Вы счастливы...

Тригорин. Я? *(Пожимая плечами.)* Гм... Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? *(Смотрит на часы.)* Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда... *(Смеется.)* Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни... Ну-с, с чего начнем? *(Подумав немного.)* Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на роаяль. Думаю: надо будет

упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдвой цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан — нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!

Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Тригорин. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вообще, и мне досадно, на душе дрянно... (*Смеется.*) А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».

Нина. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.

Тригорин. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то ча-

ду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч. и проч., и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, и фальшив до мозга костей.

Нина. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.

Тригорин. Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли?..

Оба улыбнулись.

Нина. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... *(Закрывает лицо руками.)* Голова кружится... Уф!..

Голос Аркадиной из дому: «Борис Алексеевич!»

Тригорин. Меня зовут... Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. *(Оглядывается на озеро.)* Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!

Нина. Видите на том берегу дом и сад?

Тригорин. Да.

Нина. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок.

Тригорин. Хорошо у вас тут! *(Увидев чайку.)* А это что?

Нина. Чайка. Константин Гаврилыч убил.

Тригорин. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. *(Записывает в книжку.)*

Нина. Что это вы пишете?

Тригорин. Так, записываю... Сюжет мелькнул... *(Пряча книжку.)* Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро,

как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.

Пауза.

В окне показывается Аркадии а.

Аркадии а. Борис Алексеевич, где вы?

Тригорин. Сейчас! (*Идет и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной.*) Что?

Аркадии а. Мы остаемся.

Тригорин уходит в дом.

Нина (*подходит к рампе; после некоторого раздумья*). Сон!

*Занавес*

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкаф с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки, заметны приготовления к отъезду.

Тригорин завтракает, Маша стоит у стола.

Маша. Все это я рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести: если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Тригорин. Каким же образом?

Маша. Замуж выхожу. За Медведенка.

Тригорин. Это за учителя?

Маша. Да.

Тригорин. Не понимаю, какая надобность.

Маша. Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?

Тригорин. А не много ли будет?

Маша. Ну, вот! (*Наливает по рюмке.*) Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. И всё водку или коньяк. (*Чокается.*) Желая вам! Вы человек простой, жалко с вами расставаться.

Пьют.

Тригорин. Мне самому не хочется уезжать.

Маша. А вы попросите, чтобы она осталась.

Тригорин. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня

на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым,— зачем толкаться?

Маша. Ну, и ревность. Впрочем, это не мое дело.

Пауза. Яков проходит слева направо с чемоданом; входит

Нина и останавливается у окна.

Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко. И его мать-старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом. *(Крепко пожимает руку.)* Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте! *(Уходит.)*

Нина *(протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак.)* Чет или нечет?

Тригорин. Чет.

Нина *(вздохнув)*. Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала: идти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто.

Тригорин. Тут советовать нельзя.

Пауза.

Нина. Мы расстаемся и... пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: «Дни и ночи».

Тригорин. Как грациозно! *(Целует медальон.)* Прелестный подарок!

Нина. Иногда вспоминайте обо мне.

Тригорин. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какою вы были в тот ясный день — помните? — неделю назад, когда вы были в светлом платье... Мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.

Нина *(задумчиво)*. Да, чайка...

Пауза.

Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас... *(Уходит влево; одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой.)*

Аркадина. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разезжать по гостям? *(Тригорину.)* Это кто сейчас вышел? Нина?

Тригорин. Да.

Аркадина. Pardon, мы помешали... *(Садится.)* Кажется, все уложила. Замучилась.



Тригорин (*читает на медальоне*). «Дни и ночи», страница 121, строки 11 и 12.

Яков (*убирая со стола*). Удочки тоже прикажете уложить?

Тригорин. Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Яков. Слушаю.

Тригорин (*про себя*). Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? (*Аркадиной*.) Тут в доме есть мои книжки?

Аркадия а. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Тригорин. Страница 121... (*Уходит*.)

Аркадия а. Право, Петруша, остался бы дома...

Сорин. Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.

Аркадия а. А в городе что же?

Сорин. Особенного ничего, но все же. (*Смеется*.) Будет закладка земского дома и все такое... Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пескаринной жизни, а то очень уж я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выедем.

Аркадина (*после паузы*.) Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй.

Пауза.

Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше.

Сорин. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, самолюбие...

Аркадина. Горе мне с ним! (*В раздумье*.) Поступить бы ему на службу, что ли...

Сорин (*насмывает, потом нерешительно*). Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно одеться по-человечески и все. Посмотри, один и тот же сюртучишко он таскает три года, ходит без пальто... (*Смеется*.) Да и погулять малому не мешало бы... Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит.

Аркадина. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтоб за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. (*Решительно*.) Нет у меня денег!

Сорин смеется.

Нет!

Сорин (*насмывает*). Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

Аркадина *(сквозь слезы)*. Нет у меня денег!

Сорин. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пяточка. *(Смеется.)* Вся мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелыдохнут, коровыдохнут, лошадей мне никогда не дают...

Аркадина. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка; одни туалеты разорили совсем.

Сорин. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... *(Пошатывается.)* Голова кружится. *(Держится за стол.)* Мне дурно и все.

Аркадина *(испуганно)*. Петруша! *(Стараясь поддержать его.)* Петруша, дорогой мой... *(Кричит.)* Помогите мне! Помогите!..

Входят Треплев с повязкой на голове, Медведенко.

Ему дурно!

Сорин. Ничего, ничего... *(Улыбается и пьет воду.)* Уже прошло... и все...

Треплев *(матери)*. Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. *(Дяде.)* Тебе, дядя, надо полежать.

Сорин. Немножко, да... А все-таки в город я поеду... Полежу и поеду... понятная вещь... *(Идет, опираясь на трость.)*

Медведенко *(ведет его под руку)*. Есть загадка: утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех...

Сорин *(смеется)*. Именно. А ночью на спине. Благодарю вас, я сам могу идти...

Медведенко. Ну вот, церемонии!.. *(Он и Сорин уходят.)*

Аркадина. Как он меня напугал!

Треплев. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему займы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год.

Аркадина. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша.

Пауза.

Треплев. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.

Аркадина *(достает из аптечного шкафа йодоформ и ящик с перевязочным материалом)*. А доктор опоздал.

Треплев. Обещал быть к десяти, а уже полдень.

Аркадина. Садись. *(Снимает у него с головы повязку.)* Ты как в чалме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. *(Целует его в голову.)* А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?

Треплев. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше это не повторится. *(Целует ей руку.)* У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда

ты еще служила на казенной сцене,— я тогда был маленьким,— у нас во дворе была драка, сильно побили жилищу-прачку. Помнишь? Ее подняли без чувств... ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?

Аркадии а. Нет. *(Накладывает новую повязку.)*

Треплев. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы... Ходили к тебе кофе пить...

Аркадии а. Это помню.

Треплев. Богомольные они такие были.

Пауза.

В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачем, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?

Аркадии а. Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность...

Треплев. Однако когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство!

Аркадии а. Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда.

Треплев. Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти соримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами... развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.

Аркадии а. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.

Треплев. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но прости, я лгать не умею, от его произведений мне претит.

Аркадии а. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение!

Треплев *(иронически)*. Настоящие таланты! *(Гневно.)* Я талантливее вас всех, коли на то пошло! *(Срывает с головы повязку.)* Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душиите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадии а. Декадент!..

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадии а. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

Треплев. Скряга!

Аркадии а. Оборвыш!

Треплев садится и тихо плачет.

Ничтожество! (*Пройдясь в волнении.*) Не плачь. Не нужно плакать... (*Плачет.*) Не надо... (*Целует его в лоб, щеки, в голову.*) Милое мое дитя, прости... Прости свою грешную мать. Прости меня, несчастную.

Треплев (*обнимает ее*). Если бы ты знала! Я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать... пропали все надежды...

Аркадия а. Не отчаивайся... Все обойдется. Он сейчас уедет, она опять тебя полюбит. (*Утирает ему слезы.*) Будет. Мы уже помирились.

Треплев (*целует ей руки*). Да, мама.

Аркадина (*нежно*). Помиришь и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?

Треплев. Хорошо... Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело... выше сил...

Входит Тригорин.

Вот... Я выйду... (*Быстро убирает в шкаф лекарства.*) А повязку ужо доктор сделает...

Тригорин (*ищет в книжке*). Страница 121... строки 11 и 12... Вот... (*Читает.*) «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Треплев подбирает с полу повязку и уходит.

Аркадина (*поглядев на часы*). Скоро лошадей подадут. Тригорин (*про себя*). Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Аркадина. У тебя, надеюсь, все уже уложено?

Тригорин (*нетерпеливо*). Да, да... (*В раздумье.*) Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?.. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. (*Аркадиной.*) Останемся еще на один день!

Аркадина отрицательно качает головой.

Останемся!

Аркадина. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь. Но имей над собою власть. Ты немного опьянел, отрезвись.

Тригорин. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна, умоляю тебя, взгляни на все это, как истинный друг... (*Жмет ей руку.*) Ты способна на жертвы... Будь моим другом, отпусти меня...

Аркадина (*в сильном волнении*). Ты так увлечен?

Тригорин. Меня манит к ней! Быть может, это именно то, что мне нужно.

Аркадия а. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Тригорин. Иногда люди спят на ходу, так вот я говорю с тобою, а сам будто сплю и вижу ее во сне... Мною овладели сладкие, дивные мечты... Отпусти...

Аркадина (*дрожая*). Нет, нет... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить так... Не мучай меня, Борис... Мне страшно...

Тригорин. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез,— на земле только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще... В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой... Теперь вот она, эта любовь, пришла, наконец, манит... Какой же смысл бежать от нее?

Аркадина (*с гневом*). Ты сошел с ума!

Тригорин. И пускай.

Аркадина. Вы все сговорились сегодня мучить меня! (*Плачет.*)

Тригорин (*берет себя за голову*). Не понимает! Не хочет понять!

Аркадина. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? (*Обнимает его и целует.*) О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты, последняя страница моей жизни! (*Становится на колени.*) Моя радость, моя гордость, мое блаженство... (*Обнимает его колени.*) Если ты покинешь меня хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель...

Тригорин. Сюда могут войти. (*Помогает ей встать.*)

Аркадина. Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. (*Целует ему руки.*) Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пушу... (*Смеется.*) Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?

Тригорин. У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный — неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпущай от себя ни на шаг...

Аркадина (*про себя*). Теперь он мой. (*Развязно, как ни*

в чем не бывало.) Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить?

Тригорин. Нет, уж поедем вместе.

Аркадии а. Как хочешь. Вместе, так вместе...

Пауза.

Тригорин записывает в книжку.

Что ты?

Тригорин. Утром слышал хорошее выражение: «Девичий бор...» Пригодится. *(Потягивается.)* Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры...

Шамраев *(входит)*. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию; поезд приходит в два и пять минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку: где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то... В «Ограбленной почте» играл неподражаемо... С ним тогда, помню, в Елисаветграде служит трагик Измайлов, тоже личность замечательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов — «Мы попали в запандю»... *(Хохочет.)* Запандю!..

Пока он говорит, Яков хлопочет около чемоданов, горничная приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки; все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко.

Полина Андреевна *(с корзиночкой)*. Вот вам слив на дорогу... Очень сладкие. Может, захотите полакомиться...

Аркадии а. Вы очень добры, Полина Андреевна.

Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите. *(Плачет.)*

Аркадина *(обнимает ее)*. Все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно.

Полина Андреевна. Время наше уходит!

Аркадина. Что же делать!

Сорин *(в пальто с пелериной, в шляпе, с палкой, выходит из левой двери, проходя через комнату)*. Сестра, пора, как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться. *(Уходит.)*

Медведенко. А я пойду пешком на станцию... провожать. Я живо... *(Уходит.)*

Аркадина. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся...

Горничная, Яков и повар целуют у нее руку.

Не забывайте меня. (*Подает повару рубль.*) Вот вам рубль на троих.

Повар. Покорнейше благодарим, барыня. Счастливой вам дороги! Много вами довольны!

Яков. Дай бог час добрый!

Шамраев. Письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!

Аркадия. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. (*Якову.*) Я дала рубль повару. Это на троих.

Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провожают. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходит.

Тригорин (*возвращаясь*). Я забыл свою трость. Она, кажется, там на террасе. (*Идет и у левой двери встречается с Ниной, которая входит.*) Это вы? Мы уезжаем...

Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся. (*Возбужденно.*) Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь, я ухожу от отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уезжаю, как и вы... в Москву. Мы увидимся там.

Тригорин (*оглянувшись*). Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же знать... Молчановка, дом Грохольского... Я тороплюсь...

Пауза.

Нина. Еще одну минуту...

Тригорин (*вполголоса*). Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся!

Она склоняется к нему на грудь.

Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя...

Продолжительный поцелуй.

*Занавес*

Между третьим и четвертым действием проходит два года.

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной мебели, в правом углу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф с книгами, книги на ок-

нах, на стульях.— Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож. Медведенко и Маша входят.

Маша (*окликает*). Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч! (*Осматриваясь*.) Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя... Жить без него не может...

Медведенко. Бойтся одиночества. (*Прислушиваясь*.) Какая ужасная погода! Это уже вторые сутки.

Маша (*припускает огня в лампе*). На озере волны. Громкие.

Медведенко. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал.

Маша. Ну, вот...

Пауза.

Медведенко. Поедем, Маша, домой!

Маша (*качает отрицательно головой*). Я здесь останусь ночевать.

Медведенко (*умоляюще*). Маша, поедем! Наш ребеночек небозь голоден.

Маша. Пустяки. Его Матрена покормит.

Пауза.

Медведенко. Жалко. Уже третью ночь без матери.

Маша. Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой,— и больше от тебя ничего не услышишь.

Медведенко. Поедем, Маша!

Маша. Поезжай сам.

Медведенко. Твой отец не даст мне лошади.

Маша. Даст. Ты попроси, он и даст.

Медведенко. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?

Маша (*нюхает табак*). Ну, завтра. Пристал...

Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье; кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему столу и садится.

Зачем это, мама?

Полина Андреевна. Петр Николаевич просил постлать ему у Кости.

Маша. Давайте я... (*Постилает постель*.)

Полина Андреевна (*вздыхнув*). Старый, что малый... (*Подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись; пауза*.)



Медведенко. Так я пойду. Прощай, Маша. (*Целует у жены руку.*) Прощайте, мамаша. (*Хочет поцеловать руку у тещи.*)  
Полина Андреевна (*досадливо*). Ну! Иди с богом.  
Медведенко. Прощайте, Константин Гаврилыч.

Треплев молча подает руку; Медведенко уходит.

Полина Андреевна (*глядя в рукопись*). Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава богу, и деньги стали вам присылать из журналов. (*Проводит рукой по его волосам.*) И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

Маша (*постилая*). Оставьте его, мама.

Полина Андреевна (*Треплеву*). Она славненькая.

Пауза.

Женщине, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

Треплев встает из-за стола и молча уходит.

Маша. Вот и рассердили. Надо было приставать!

Полина Андреевна. Жалко мне тебя, Машенька.

Маша. Очень нужно!

Полина Андреевна. Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю.

Маша. Все глупости. Безнадежная любовь — это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда,— все забуду... с корнем из сердца вырву.

Через две комнаты играют меланхолический вальс.

Полина Андреевна. Костя играет. Значит, тоскует.

Маша (*делает бесшумно два-три тура вальса*). Главное мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.

Открывается левая дверь, Дорн и Медведенко катят в кресле Сорина.

Медведенко. У меня теперь в доме шестеро. А мука семь гривен пуд.

Дорн. Вот тут и вертись.

Медведенко. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют.

Дорн. Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет.

Маша (*мужу*). Ты не уехал?

Медведенко (*виновато*). Что ж? Когда не дают лошади!

Маша (*с горькою досадой, вполголоса*). Глаза бы мои тебя не видели!

Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле; Медведенко, опечаленный, отходит в сторону.

Дорн. Сколько у вас перемен, однако! Из гостиной сделали кабинет.

Маша. Здесь Константину Гаврилычу удобнее работать. Он может, когда угодно, выходить в сад и там думать.

Стучит сторож.

Сорин. Где сестра?

Дорн. Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется.

Сорин. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. (*Помолчав.*) Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.

Дорн. А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хины?

Сорин. Ну, начинается философия. О, что за наказание! (*Кивнув головой на диван.*) Это для меня послано?

Полина Андреевна. Для вас, Петр Николаевич.

Сорин. Благодарю вас.

Дорн (*напевает*). «Месяц плывет по ночным небесам...»

Сорин. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». «L'homme, qui a voulu». В молодости когда-то хотел я сделаться литератором — и не сделался; хотел красиво говорить — и говорил отвратительно (*дразнит себя*): «и все и все такое, того, не того...» и, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит; хотел жениться — и не женился; хотел всегда жить в городе — и вот кончаю свою жизнь в деревне и все.

Дорн. Хотел стать действительным статским советником — и стал.

Сорин (*смеется*). К этому я не стремился. Это вышло само собою.

Дорн. Выражать недовольство жизнью в шестьдесят два года, согласитесь, — это не великодушно.

Сорин. Какой упрямец. Поймите, жить хочется!

Дорн. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.

Сорин. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.

Дорн. Страх смерти — животный страх... Надо подавлять его. Сознательно бояться смерти только верующие в вечную

жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, во-вторых — какие у вас грехи? Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству — только всего.

Сорин (*смеется*). Двадцать восемь...

Входит Треплев и садится на скамеечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз.

Дорн. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать.  
Треплев. Нет, ничего.

Пауза.

Медведенко. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя.

Треплев. Почему Генуя?

Дорн. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?

Треплев. Должно быть, здорова.

Дорн. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?

Треплев. Это, доктор, длинная история.

Дорн. А вы покороче.

Пауза.

Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?

Дорн. Знаю.

Треплев. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин любил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а, по бесхарактерности, как-то ухитрился и тут и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Дорн. А сцена?

Треплев. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Дорн. Значит, все-таки есть талант?

Треплев. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.

Пауза.

Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь.

Дорн. То есть как здесь?

Треплев. В городе, на постоянном дворе. Уже дней пять как живет там в номере. Я было поехал к ней, и вот Марья Ильинишна ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда.

Медведенко. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.

Треплев. Не придет она.

Пауза.

Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. *(Отходит с доктором к письменному столу.)* Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как это трудно на деле!

Сорин. Прелестная была девушка.

Дорн. Что-с?

Сорин. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.

Дорн. Старый ловелас.

Слышен смех Шамраева.

Полина Андреевна. Кажется, наши приехали со станции...

Треплев. Да, я слышу маму.

Входят Аркадии а, Тригорин, за ними Ш а м р а е в.

Ш а м р а е в *(входя)*. Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемая, все еще молоды... Светлая кофточка, живость... грация...

Аркадии а. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!

Тригорин *(Сорину)*. Здравствуйте, Петр Николаевич! Что

это вы всё хвораете? Нехорошо! *(Увидев Машу, радостно.)* Марья Ильинична!

Маша. Узнали? *(Жмет ему руку.)*

Тригорин. Замужем?

Маша. Давно.

Тригорин. Счастливы? *(Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к Треплеву.)* Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.

Треплев протягивает ему руку.

Аркадина *(сыну)*. Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.

Треплев *(принимая книгу, Тригорину)*. Благодарю вас. Вы очень любезны.

Садятся.

Тригорин. Вам шлют поклон ваши почитатели... В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня всё спрашивают про вас. Спрашивают: какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже немолоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печтаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как Железная Маска.

Треплев. Надолго к нам?

Тригорин. Нет, завтра же думаю в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом — старая история.

Пока они разговаривают, Аркадина и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его; Шамраев зажигает свечи, ставит стулья. Достают из шкафа лото.

Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где — помните? — играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия.

Маша *(отцу)*. Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Шамраев *(дразнит)*. Лошадь... домой... *(Строго.)* Сама видела: сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.

Маша. Но ведь есть другие лошади... *(Видя, что отец молчит, машет рукой.)* С вами связываться...

Медведенко. Я, Маша, пешком пойду. Право...

Полина Андреевна *(вздыхнув)*. Пешком, в такую погоду... *(Садится за ломберный стол.)* Пожалуйте, господа.

Медведенко. Ведь всего только шесть верст... Прощай... *(Целует жене руку.)* Прощайте, мамаша.

Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку.

Я бы никого не беспокоил, но ребеночек... *(Кланяется всем.)*  
Прощайте... *(Уходит; походка виноватая.)*

Шамраев. Небось дойдет. Не генерал.

Полина Андреевна *(стучит по столу)*. Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.

Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол.

Аркадина *(Тригорину)*. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? *(Садится с Тригориным за стол.)* Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. *(Сдаст всем по три карты.)*

Треплев *(перелистывая журнал)*. Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. *(Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери; проходя мимо матери, целует ее в голову.)*

Аркадина. А ты, Костя?

Треплев. Прости, что-то не хочется... Я пройдуся. *(Уходит.)*

Аркадина. Ставка — гривенник. Поставьте за меня, доктор.

Дорн. Слушаю-с.

Маша. Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

Аркадина. Есть.

Маша. Три!..

Дорн. Так-с.

Маша. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!

Шамраев. Не спеши.

Аркадина. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

Маша. Тридцать четыре!

За сценой играют меланхолический вальс.

Аркадина. Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка и вот... *(Снимает с груди брошь и бросает на стол.)*

Шамраев. Да, это вещь...

Маша. Пятьдесят!..

Дорн. Ровно пятьдесят?

Аркадина. На мне был удивительный туалет... Что-что, а уж одеться я не дура.

Полина Андреевна. Костя играет. Тоскует бедный.

Шамраев. В газетах бранят его очень.

Маша. Семьдесят семь!

Аркадина. Охота обращать внимание.

Тригорин. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица.

Маша. Одиннадцать!

Аркадина (*оглянувшись на Сорина*). Петруша, тебе скучно?

Пауза.

Спит.

Дорн. Спит действительный статский советник.

Маша. Семь! Девяносто!

Тригорин. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.

Маша. Двадцать восемь!

Тригорин. Поймать ерша или окуня — это такое блаженство!

Дорн. А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! Он мыслит образами, рассказы его красочны, яркие, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

Аркадина. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

Маша. Двадцать шесть!

Треплев тихо входит и идет к своему столу.

Шамраев (*Тригорину*). А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.

Тригорин. Какая?

Шамраев. Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело.

Тригорин. Не помню. (*Раздумывая*.) Не помню!

Маша. Шестьдесят шесть! Один!

Треплев (*распахивает окно, прислушивается*). Как темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство.

Аркадина. Костя, закрой окно, а то дует.

Треплев закрывает окно.

Маша. Восемьдесят восемь!

Тригорин. У меня партия, господа.

Аркадина (*весело*). Bravo! Bravo!

Шамраев. Bravo!

Аркадина. Этому человеку всегда и везде везет. (*Встает*.) А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. (*Сыну*.) Костя, оставь свои рукописи, пойдем есть.

Треплев. Не хочу, мама, я сыт.

Аркадина. Как знаешь. (*Будит Сорина*.) Петруша, ужинать! (*Берет Шамраева под руку*.) Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове...

Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все уходят в левую дверь; на сцене остается один Треплев за письменным столом.

Треплев (*собирается писать; пробегает то, что уже написано*). Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. (*Читает.*) «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно. (*Зачеркивает.*) Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно.

Пауза.

Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души.

Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.

Что такое? (*Глядит в окно.*) Ничего не видно... (*Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.*) Кто-то пробежал вниз по ступеням. (*Окликает.*) Кто здесь? (*Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты возвращается с Ниной Заречной.*) Нина! Нина!

Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.

(*Растроганный.*) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. (*Снимает с нее шляпу и тальму.*) О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.

Нина. Здесь есть кто-то.

Треплев. Никого.

Нина. Заприте двери, а то войдут.

Треплев. Никто не войдет.

Нина. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Треплев (*закрывает правую дверь на ключ, подходит к левой*). Тут нет замка. Я заставлю креслом. (*Ставит у двери кресло.*) Не бойтесь, никто не войдет.

Нина (*пристально глядит ему в лицо*). Дайте я посмотрю на вас. (*Оглядываясь.*) Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Треплев. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше.

Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали ме-



ня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Н и н а. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем.

Садятся.

Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите — ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». Я — чайка... Нет, не то. (*Трет себе лоб.*) О чем я? Да... Тургенев... «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам...» Ничего. (*Рыдает.*)

Т р е п л е в. Нина, вы опять... Нина!

Н и н а. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. (*Берет его за руку.*) Итак, вы стали уже писателем... Вы писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски — проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Т р е п л е в. Зачем в Елец?

Н и н а. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.

Т р е п л е в. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, — я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Н и н а (*растерянно*). Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Т р е п л е в. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне ехать с вами!

Нина быстро надевает шляпу и тальму.

Нина, зачем? Бога ради, Нина... (*Смотрит, как она одевается; пауза.*)

Нина. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... *(Сквозь слезы.)* Дайте воды...

Треплев *(дает ей напиток)*. Вы куда теперь?

Нина. В город.

Пауза.

Ирина Николаевна здесь?

Треплев. Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Нина. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. *(Склоняется к столу.)* Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! *(Поднимает голову.)* Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну да! *(Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.)* И он здесь... *(Возвращаясь к Треплеву.)* Ну да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. Это не то... *(Трет себе лоб.)* О чем я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Треплев *(печально)*. Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Нина *(прислушиваясь)*. Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... *(Жмет ему руку.)* Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...

Треплев. Оставайтесь, я дам вам поужинать...

Нина. Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая,

радостная, чистая жизнь, какие чувства,— чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?... *(Читает.)* «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...» *(Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)*

Треплев *(после паузы)*. Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму... *(В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.)*

Дорн *(стараясь отворить левую дверь)*. Странно. Дверь как будто заперта... *(Входит и ставит на место кресло.)* Скачка с препятствиями.

Входят Аркадия и Полина Андреевна, за ними Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин.

Аркадия а. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда, на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна *(Якову)*. Сейчас же подавай и чай. *(Зажигает свечи, садится за ломберный стол.)*

Шамраев *(подводит Тригорина к шкафу)*. Вот вещь, о которой я давеча говорил... *(Достает из шкафа чучело чайки.)* Ваш заказ.

Тригорин *(глядя на чайку)*. Не помню! *(Подумав.)* Не помню!

Направо за сценой выстрел; все вздрагивают.

Аркадия *(испуганно)*. Что такое?

Дорн. Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. *(Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.)* Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. *(Напевает.)* «Я вновь пред тобою стою очарован...»

Аркадия *(садясь за стол)*. Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... *(Закрывает лицо руками.)* Даже в глазах потемнело...

Дорн *(перелистывая журнал, Тригорину)*. Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... *(берет Тригорина за талию и отводит к рампе)* так как я очень интересуюсь этим вопросом... *(Тоном ниже, вполголоса.)* Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...

*Занавес.*

# ВИШНЕВЫЙ САД

*Комедия в четырех действиях*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Раневская Любовь Андреевна, помещица.  
Аня, ее дочь, 17 лет.  
Варя, ее приемная дочь, 24-х лет.  
Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.  
Лопехин Ермолай Алексеевич, купец.  
Трофимов Петр Сергеевич, студент.  
Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.  
Шарлотта Ивановна, гувернантка.  
Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.  
Дуняша, горничная.  
Фирс, лакей, старик 87 лет.  
Яша, молодой лакей.  
Прохожий.  
Начальник станции.  
Почтовый чиновник.  
Гости, прислуга.

Действие происходит в имении Л. А. Раневской.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната, которая до сих пор называется детской. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты.

Входят Дуняша со свечой и Лопехин с книгой в руке.

Лопехин. Пришел поезд, слава богу. Который час?

Дуняша. Скоро два. *(Тушит свечу.)* Уже светло.

Лопехин. На сколько же это опоздал поезд? Часа на два по крайней мере. *(Зевает и потягивается.)* Я-то хорош, какого дурака сваялял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал... Сидя уснул. Досада... Хоть бы ты меня разбудила.

Д у н я ш а. Я думала, что вы уехали. *(Прислушивается.)* Вот, кажется, уже едут.

Л о п а х и н *(прислушивается)*. Нет... Багаж получить, то да се...

Пауза.

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчиком лет пятнадцати, отец мой покойный — он тогда здесь на деревне в лавке торговал — ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет...»

Пауза.

Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком... *(Перелистывает книгу.)* Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.

Пауза.

Д у н я ш а. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяйева едут.

Л о п а х и н. Что ты, Дуняша, такая...

Д у н я ш а. Руки трясутся. Я в обморок упаду.

Л о п а х и н. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить.

Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет.

Епиходов *(поднимает букет)*. Вот садовник прислал, говорит в столовой поставить. *(Отдает Дуняше букет.)*

Л о п а х и н. И квасу мне принесешь.

Д у н я ш а. Слушаю. *(Уходит.)*

Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. *(Вздыхает.)* Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?

Л о п а х и н. Отстань. Надоел.

Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.

Д у н я ш а входит, подает Лопихину квас.

Я пойду. *(Натыкается на стул, который падает.)* Вот... *(Как бы торжествуя.)* Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! *(Уходит.)*

Дуняша. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.

Л о п а х и н. А!

Дуняша. Не знаю уж как... Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья...

Л о п а х и н *(прислушивается)*. Вот, кажется, едут...

Дуняша. Едут! Что ж это со мной... похолодела вся.

Л о п а х и н. Едут, в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались.

Дуняша *(в волнении)*. Я сейчас упаду... Ах, упаду!

Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопехин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Ф и р с, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и высокой шляпе; что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь...» Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одеты по-дорожному. Варя в пальто и платке. Гаев, Симеонов-Пищик, Лопехин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами — все идет через комнату.

Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?

Любовь Андреевна *(радостно, сквозь слезы)*. Детская!

Варя. Как холодно, у меня руки заоченели. *(Любови Андреевне.)* Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка.

Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была маленькой... *(Плачет.)* И теперь я как маленькая... *(Целует брата, Варю, потом опять брата.)* А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... *(Целует Дуняшу.)*

Гаев. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?

Шарлотта *(Пищику)*. Моя собака и орехи кушает.

Пищик *(удивленно)*. Вы подумайте!

Уходят все, кроме Ани и Дуняши.

Дуняша. Заждались мы... *(Снимает с Ани пальто, шляпу.)*

А н я. Я не спала в дороге четыре ночи... теперь озябла очень.

Дуняша. Вы уехали в великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя! *(Смеется, целует ее.)* Заждались

вас, радость моя, светик... Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть...

Аня (*вяло*). Опять что-нибудь...

Дуняша. Конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал.

Аня. Ты все об одном... (*Поправляя волосы*.) Я растеряла все шпильки...

Она очень утомлена, даже пошатывается.

Дуняша. Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит!

Аня (*глядит в свою дверь, нежно*). Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад... О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.

Дуняша. Третьего дня Петр Сергеич приехали.

Аня (*радостно*). Петя!

Дуняша. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. (*Взглянув на свои карманные часы*.) Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди.

Входит Варя, на поясе у нее связка ключей.

Варя. Дуняша, кофе поскорей... Мамочка кофе просит.

Дуняша. Сию минуточку. (*Уходит*.)

Варя. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. (*Ласка-сь*.) Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Аня. Натерпелась я.

Варя. Воображаю!

Аня. Выехала я на страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту...

Варя. Нельзя же тебе одной ехать, душечка. В семнадцать лет!

Аня. Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала...

Варя (*сквозь слезы*). Не говори, не говори...

Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда...

<sup>1</sup> Ментона — город в Южной Франции, на берегу Средиземного моря.

Варя. Видела подлеца.

Аня. Ну что, как? Заплатили проценты?

Варя. Где там.

Аня. Боже мой, боже мой...

Варя. В августе будут продавать имение...

Аня. Боже мой...

Лопахин (*заглядывает в дверь и мычит*). Ме-е-е... (*Уходит.*)

Варя (*сквозь слезы*). Вот так бы и дала ему... (*Грозит кулаком.*)

Аня (*обнимает Варю, тихо*). Варя, он сделал предложение? (*Варя отрицательно качает головой.*) Ведь он же тебя любит... Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?

Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня... и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, все как сон... (*Другим тоном.*) У тебя брошка вроде как пчелка.

Аня (*печально*). Это мама купила. (*Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.*) А в Париже я на воздушном шаре летала!

Варя. Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе.

(*Стоит около двери.*) Хожу я, душечка, целый день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!..

Аня. Птицы поют в саду. Который теперь час?

Варя. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. (*Входя в комнату к Ане.*) Благолепие!

Входит Яша с пледом, дорожной сумочкой.

Яша (*идет через сцену, деликатно*). Тут можно пройти-с? Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.

Яша. Гм... А вы кто?

Дуняша. Когда вы уезжали отсюда, я была этакой... (*Показывает от пола.*) Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните!

Яша Гм... Огурчик! (*Оглядывается и обнимает ее; она вскрикивает и роняет блюдечко.*)

Яша быстро уходит.

Варя (*в дверях, недовольным голосом*). Что еще тут?

Дуняша (*сквозь слезы*). Блюдечко разбила...



Варя. Это к добру.

Аня (*выйдя из своей комнаты*). Надо бы маму предупредить: Петя здесь...

Варя. Я приказала его не будить.

Аня (*задумчиво*). Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в речке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки... (*Вздрагивает.*) Как я ее понимаю, если бы она знала!

Пауза.

А Петя Трофимов был учителем Гриши, он может напомнить...

Входит Фирс, он в пиджаке и белом жилете.

Фирс (*идет к кофейнику, озабоченно*). Барыня здесь будут кушать... (*Надевает белые перчатки.*) Готов кофий? (*Строго, Дуняше.*) Ты! А сливки?

Дуняша. Ах, боже мой... (*Быстро уходит.*)

Фирс (*хлопочет около кофейника*). Эх ты, недотепа... (*Бормочет про себя.*) Приехали из Парижа... И барин когда-то ездил в Париж... на лошадях... (*Смеется.*)

Варя. Фирс, ты о чем?

Фирс. Чего изволите? (*Радостно.*) Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть... (*Плачет от радости.*)

Входят Любовь Андреевна, Гаев и Симеонов-Пищик; Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя, руками и туловищем делает движения, как будто играет на бильярде.

Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить... Желтого в угол! Дуплет в середину!

Гаев. Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно...

Лопехин. Да, время идет.

Гаев. Кого?

Лопехин. Время, говорю, идет.

Гаев. А здесь пачулями<sup>1</sup> пахнет.

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. (*Целует мать.*)

Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. (*Целует ей руки.*) Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду.

Аня. Прощай, дядя.

Гаев (*целует ей лицо, руки*). Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать! (*Сестре.*) Ты, Люба, в ее годы была точно такая.

Аня подает руку Лопехину и Пищику, уходит и затворяет за собой дверь.

<sup>1</sup> Пачули — растение, используемое в парфюмерии.

Любовь Андреевна. Она утомилась очень.

Пищик. Дорога небось длинная.

Варя (*Лопяхину и Пищику*). Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать.

Любовь Андреевна (*смеется*). Ты все такая же, Варя. (*Привлекает ее к себе и целует.*) Вот выпью кофе, тогда все уйдем.

Фирс кладет ей под ноги подушечку.

Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок. (*Целует Фирса.*)

Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли... (*Уходит.*)

Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? (*Смеется.*) Мне хочется прыгать, размахивать руками. (*Закрывает лицо руками.*) А вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. (*Сквозь слезы.*) Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Фирс. Позавчера.

Гаев. Он плохо слышит.

Лопяхин. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная.

Пищик (*тяжело дышит*). Даже похорошела... Одета по-парижскому... пропадай моя телега, все четыре колеса...

Лопяхин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше чем родную.

Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии... (*Вскакивает и ходит в сильном волнении.*) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафчик мой родной... (*Целует шкаф.*) Столик мой.

Гаев. А без тебя тут няня умерла.

Любовь Андреевна (*садится и пьет кофе*). Да, царство небесное. Мне писали.

Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. (*Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.*)

Пищик. Дочка моя, Дашенька... вам кланяется...

Лопяхин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. (*Взглянув на часы.*) Сейчас уеду, некогда разговаривать... ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневым сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа

назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.

Гаев. Извините, какая чепуха!

Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексееч.

Л о п а х и н. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцать пять рублей в год за десятину, и если теперь же объявить, то, я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить... например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад.

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.

Л о п а х и н. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.

Л о п а х и н *(взглянув на часы)*. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.

Ф и р с. В прежнее время, лет сорок — пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало...

Гаев. Помолчи, Фирс.

Ф и р с. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...

Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?

Фирс. Забыли. Никто не помнит.

Пищик *(Любови Андреевне)*. Что в Париже? Как? Ели лягушек?

Любовь Андреевна. Крокодилов ела.

Пищик. Вы подумайте...

Л о п а х и н. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на

своей одной десяatine он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...

Гаев *(возмущаясь)*. Какая чепуха!

Входят Варя и Яша.

Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. *(Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф.)* Вот они.

Любовь Андреевна. Это из Парижа. *(Читает телеграммы, не прочитав.)* С Парижем кончено...

Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак, книжный шкаф.

Пищик *(удивленно)*. Сто лет... Вы подумайте!..

Гаев. Да... Это вещь... *(Ощупав шкаф.)* Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая *(сквозь слезы)* в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.

Пауза.

Лопахин. Да...

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.

Гаев *(немного сконфуженный)*. От шара направо в угол! Режу в среднюю!

Лопахин *(поглядев на часы)*. Ну, мне пора.

Яша *(подает Любове Андреевне лекарство)*. Может, примет сейчас пилюли...

Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая... от них ни вреда, ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. *(Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом.)* Вот!

Любовь Андреевна *(испуганно)*. Да вы с ума сошли!

Пищик. Все пилюли принял.

Лопахин. Экая прорва.

Все смеются.

Фирс. Они были у нас на святой, полведра огурцов скушали... *(Бормочет.)*

Любовь Андреевна. О чем это он?

Варя. Уж три года как бормочет. Мы привыкли.

Яша. Преклонный возраст.

Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе проходит через сцену.

Лопехин. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. *(Хочет поцеловать у нее руку.)*

Шарлотта *(отнимая руку)*. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...

Лопехин. Не везет мне сегодня.

Все смеются.

Шарлотта Ивановна, покажите фокус!

Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокус!

Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. *(Уходит.)*

Лопехин. Через три недели увидимся. *(Целует Любви Андреевне руку.)* Пока прощайте. Пора. *(Гаеву.)* До свидания. *(Целует с Пищиком.)* До свидания. *(Подает руку Варю, потом Фирсу и Яше.)* Не хочется уезжать. *(Любви Андреевне.)* Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я займы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте.

Варя *(сердито)*. Да уходите же наконец!

Лопехин. Ухожу, ухожу... *(Уходит.)*

Гаев. Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок.

Варя. Не говорите, дядечка, лишнего.

Любовь Андреевна. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек.

Пищик. Человек, надо правду говорить... достойнейший... И моя Дашенька... тоже говорит, что... разные слова говорит. *(Храпит, но тотчас же просыпается.)* А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне... займы двести сорок рублей... завтра по закладной проценты платить...

Варя *(испуганно)*. Нету, нету!

Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего.

Пищик. Найдется. *(Смеется.)* Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан, глядь — железная дорога по моей земле прошла, и... мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра... Двести тысяч выиграл Дашенька... у нее билет есть.

Любовь Андреевна. Кофе выпит, можно на покой.

Фирс *(чистит щеткой Гаева, наставительно)*. Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!

Варя *(тихо)*. Аня спит. *(Тихо открывает окно.)* Уже взошло солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!

Гаев *(открывает другое окно)*. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Любовь Андреевна (*глядит в окно на сад*). О мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мной каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (*Смеется от радости*.) Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!

Гаев. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно...

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (*Смеется от радости*.) Это она.

Гаев. Где?

Варя. Господь с вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину...

Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках.

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо...

Трофимов. Любовь Андреевна!

Она оглянулась на него.

Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. (*Горячо целует руку*.) Мне приказно было ждать до утра, но у меня не хватило терпения...

Любовь Андреевна глядит с недоумением.

Варя (*сквозь слезы*). Это Петя Трофимов...

Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши... Неужели я так изменился?

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.

Гаев (*смущенно*). Полно, полно, Люба.

Варя (*плачет*). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Любовь Андреевна. Гриша мой... мой мальчик... Гриша... сын...

Варя. Что же делать, мамочка. Воля божья.

Трофимов (*мягко, сквозь слезы*). Будет, будет...

Любовь Андреевна (*тихо плачет*). Мальчик погиб, утонул... Для чего? Для чего, мой друг? (*Тише*.) Там Аня спит, а я громко говорю... поднимаю шум... Что же, Нетья? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?

Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы негустые, очки. Неужели вы все еще студент? (*Идет к двери*.)

Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.  
Любовь Андреевна (*целует брата, потом Варю*). Ну, идите спать... Постарел и ты, Леонид.

Пищик (*идет за ней*). Значит, теперь спать... Ох, подагра моя. Я у вас останусь... Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... двести сорок рублей...

Гаев. А этот все свое.

Пищик. Двести сорок рублей... проценты по закладной платить.

Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик.

Пищик. Отдам, милая... Сумма пустяшная...

Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонид даст... Ты дай, Леонид.

Гаев. Дам я ему, держи карман.

Любовь Андреевна. Что же делать, дай... Ему нужно... Он отдаст.

Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша.

Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. (*Яше*.) Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.

Яша (*с усмешкой*). А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были.

Гаев. Кого? (*Варе*.) Что он сказал?

Варя (*Яше*). Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться...

Яша. Бог с ней совсем!

Варя. Ах, бысстыдник!

Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. (*Уходит*.)

Варя. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала.

Гаев. Да...

Пауза.

Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности, ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытаться счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.

Варя (*плачет*). Если бы бог помог.

Гаев. Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного<sup>1</sup>, не дворянина...

<sup>1</sup> Присяжный поверенный — адвокат в дореволюционной России.

Аня показывается в дверях.

Вышла за не дворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.

Варя (*шепотом*). Аня стоит в дверях.

Гаев. Кого?

Пауза.

Удивительно, мне что-то в правый глаз попало... плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде...

Входит Аня.

Варя. Что же ты не спишь, Аня?

Аня. Не спится. Не могу.

Гаев. Крошка моя. (*Целует Ане лицо, руки.*) Дитя мое... (*Сквозь слезы.*) Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь...

Аня. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают... но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?

Гаев. Да... да... (*Ее рукой закрывает себе лицо.*) В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкапом... так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.

Варя. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и всё.

Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.

Гаев. Молчу. (*Целует Ане и Варе руки.*) Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том о сем, пятое-десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк.

Варя. Если бы господь помог!

Гаев. Во вторник поеду, еще раз поговорю. (*Варе.*) Не реви. (*Ане.*) Твоя мама поговорит с Лопахиным; он, конечно, ей не откажет... А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов — и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден... (*Кладет в рот леденец.*) Честью моей, чем хочешь, клянусь, имяние не будет продано! (*Возбужденно.*) Счастьем моим клянусь! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!

Аня (*спокойное настроение вернулось к ней, она счастли-*



ва). Какой ты хороший, дядя, какой умный! (*Обнимает дядю.*)  
Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!

Входит Ф и р с.

Ф и р с (*укоризненно*). Леонид Андреич, бога вы не боитесь!  
Когда же спать?

Гаев. Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь. Ну, детки, бай-бай... Подробности завтра, а теперь идите спать. (*Целует Аню и Варю.*) Я человек восьмидесятих годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать! Надо знать, с какой...

Аня. Опять ты, дядя!

Варя. Вы, дядечка, молчите.

Фирс (*сердито*). Леонид Андреич!

Гаев. Иду, иду... Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого... (*Уходит, за ним семенит Фирс.*)

Аня. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дяде. (*Садится.*)

Варя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп. Стали они пускать ночевать к себе каких-то проходимцев — я промолчала. Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли... И это все Евстигней... Хорошо, думаю. Коли так, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея... (*Зевает.*) Приходит... Как же ты, говорю, Евстигней... дурак ты этакой... (*Поглядев на Аню.*) Анечка!..

Пауза.

Заснула!.. (*Берет Аню под руку.*) Пойдем в постельку... Пойдем! (*Ведет ее.*) Душечка моя уснула! Пойдем...

Идут.

Далеко за садом пастух играет на свирели. Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается.

Варя. Тсс... Она спит... спит... Пойдем, родная.

Аня (*тихо, в полусне*). Я так устала... все колокольчики... Дядя... милый... и мама и дядя...

Варя. Пойдем, родная, пойдем... (*Уходит в комнату Ани.*)

Трофимов (*в умилении*). Солнышко мое! Весна моя!

Занавес.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуныша сидят на скамье; Епиходов стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне.

Шарлотта (*в раздумье*). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала *salto-mortale*<sup>1</sup> и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. (*Достает из кармана огурец и ест.*) Ничего не знаю.

Пауза.

Так хочется поговорить, а не с кем... Никого у меня нет.

Епиходов (*играет на гитаре и поет*). «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...» Как приятно играть на мандолине!

Дуныша. Это гитара, а не мандолина. (*Глядится в зеркальце и пудрится.*)

Епиходов. Для безумца, который влюблен, это мандолина... (*Напевает.*) «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви...»

Яша подпевает.

Шарлотта. Ужасно поют эти люди... фуй! Как шакалы. Дуныша (*Яше*). Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (*Зевает, потом закуривает сигару.*)

Епиходов. Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплектции.

Яша. Само собой.

Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне, соб-

<sup>1</sup> (*Salto-mortale*) смертельный прыжок (*um.*) — прыжок, при котором акробат перевортывается в воздухе.

ственно, хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... (*Показывает револьвер.*)

Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. (*Надевает ружье.*) Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Бррр! (*Идет.*) Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно... (*Уходит не спеша.*)

Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой. (*Показывает обеими руками.*) И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана.

Пауза.

Вы читали Бокля?

Пауза.

Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов. Дуняша. Говорите.

Епиходов. Мне бы желательно с вами наедине... (*Вздыхает.*)

Дуняша (*смущенно*). Хорошо... только сначала принесите мне тальмочку ... Она около шкапа... тут немножко сыро...

Епиходов. Хорошо-с принесу-с... Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером... (*Берет гитару и уходит, наигрывая.*)

Яша. Двадцать два несчастья! Глупый человек, между нами говоря. (*Зевает.*)

Дуняша. Не дай бог, застрелится.

Пауза.

Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь... Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами.

Яша (*целует ее*). Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения.

<sup>1</sup> *Тальма* (по имени французского актера) — длинная накидка без рукавов.

Дуняша. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать.

Пауза.

Яша (*зевает*). Да-с... По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.

Пауза.

Приятно выкурить сигару на чистом воздухе... (*Прислушивается.*) Сюда идут... Это господа...

Дуняша порывисто обнимает его.

Идите домой, будто ходили на реку купаться, идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу.

Дуняша (*тихо кашляет*). У меня от сигары голова разболелась... (*Уходит.*)

Яша остается, сидит возле часовни. Входят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин.

Лопахин. Надо окончательно решить,— время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары... (*Садится.*)

Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. (*Садится.*) Съездили в город и позавтракали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...

Любовь Андреевна. Успеешь.

Лопахин. Только одно слово! (*Умоляюще.*) Дайте же мне ответ!

Гаев (*зевая*). Кого?

Любовь Андреевна (*глядит в свое портмоне*). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно... (*Уронила портмоне, рассыпала золотые.*) Ну, просыпались... (*Ей досадно.*)

Яша. Позвольте, я сейчас подберу. (*Собирает монеты.*)

Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать... Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом... Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах!

Лопахин. Да.

Гаев (*машет рукой*). Я неисправим, это очевидно... (*Раздраженно, Яше.*) Что такое, постоянно вертись перед глазами...

Яша (*смеется*). Я не могу без смеха вашего голоса слышать.

Гаев (*сестре*). Или я, или он...

Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте...

Яша (*отдает Любови Андреевне кошелек*). Сейчас уйду. (*Едва удерживается от смеха.*) Сию минуту... (*Уходит.*)

Лопехин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, придет сам лично.

Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?

Лопехин. В городе говорят.

Гаев. Ярославская тетюшка обещала прислать, а когда и сколько прийдет, неизвестно...

Лопехин. Сколько она прийдет? Тысяч сто? Двести?

Любовь Андреевна. Ну... Тысяч десять — пятнадцать, и на том спасибо.

Лопехин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господ, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что?

Лопехин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее, — аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это так пошло, простите.

Гаев. Совершенно с тобой согласен.

Лопехин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (*Гаеву.*) Баба вы!

Гаев. Кого?

Лопехин. Баба! (*Хочет уйти.*)

Любовь Андреевна (*испуганно*). Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!

Лопехин. О чем тут думать!

Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее...

Пауза.

Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.

Гаев (*в глубоком раздумье*). Дуплет в угол... Круазе в середине...

Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили...

Лопехин. Какие у вас грехи...

Гаев (*кладет в рот леденец*). Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах... (*Смеется.*)

Любовь Андреевна. О, мои грехи... Я всегда сорила

деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского,— он страшно пил,— и, на несчастье, я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время,— это было первое наказание, удар прямо в голову,— вот тут на реке... утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а *он* за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как *он* заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться... Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей... (*Утирает слезы.*) Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (*Достает из кармана телеграмму.*) Получила сегодня из Парижа... Просит прощения, умоляет вернуться... (*Рвет телеграмму.*) Словно где-то музыка. (*Прислушивается.*)

Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.

Любовь Андреевна. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок.

Лопахин (*прислушивается*). Не слышать... (*Тихо напевает.*) «И за деньги русака немцы офранцузят». (*Смеется.*) Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно.

Любовь Андреевна. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного.

Лопахин. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...

Пауза.

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья.

Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг.

Лопахин. Да... Это правда.

Любовь Андреевна. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка.

Лопахин. Да.

Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится.

Лопахин. Что же? Я не прочь... Она хорошая девушка.

Пауза.

Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год... Слыхала?

Любовь Андреевна. Где тебе! Сиди уж...

Фирс входит, он принес пальто.

Фирс (*Гаеву*). Извольте, сударь, надеть, а то сыро.

Гаев (*надевает пальто*). Надоел ты, брат.

Фирс. Нечего там... Утром уехали, не сказавшись. (*Оглядывает его.*)

Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс!

Фирс. Чего изволите?

Лопахин. Говорят, ты постарел очень!

Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было... (*Смеется.*) А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах...

Пауза.

И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.

Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере драли.

Фирс (*не расслышав*). А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.

Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.

Лопахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.

Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет.

Входят Трофимов, Аня и Варя.

Гаев. А вот и наши идут.

Аня. Мама сидит.

Любовь Андреевна (*нежно*). Иди, иди... Родные мои... (*Обнимает Аню и Варю.*) Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом, вот так.

Все усаживаются.

Лопахин. Наш вечный студент все с барышнями ходит.

Трофимов. Не ваше дело.

Лопахин. Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент.

Трофимов. Оставьте ваши дурацкие шутки.

Лопахин. Что же ты, чудака, сердисься?

Трофимов. А ты не приставай.

Лопахин (*смеется*). Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?

Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы бога-

тый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадает ему на пути, так и ты нужен.

Все смеются.

Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.

Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор.

Трофимов. О чем это?

Гаев. О гордом человеке.

Трофимов. Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать по-просту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.

Гаев. Все равно умрешь.

Трофимов. Кто знает? И что значит — умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.

Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..

Лопехин (*иронически*). Страсть!

Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосыгаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способен. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезного ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

Лопехин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя



тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»

Любовь Андреевна. Вам понадобились великаны... Они только в сказках хороши, а так они пугают.

В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.

*(Задумчиво.)* Епиходов идет...

Гаев. Солнце село, господа.

Трофимов. Да.

Гаев *(негромко, как бы декламируя)*. О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живешь и разрушаешь...

Варя *(умоляюще)*. Дядечка!

Аня. Дядя, ты опять!

Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом.

Гаев. Я молчу, молчу.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.

Любовь Андреевна. Это что?

Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.

Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли.

Трофимов. Или филин...

Любовь Андреевна *(вздрагивает)*. Неприятно почему-то.

Пауза.

Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?

Фирс. Перед волей.

Пауза.

Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдете, уже вечерет. *(Ане.)* У тебя на глазах слезы... Что ты, девочка? *(Обнимает ее.)*

Аня. Это так, мама. Ничего.

Трофимов. Кто-то идет.

Показывается прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; он слегка пьян.

Прохожий. Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию?

Гаев. Можете. Идите по этой дороге.

Прохожий. Чувствительно вам благодарен. *(Кашлянув.)*

Погода превосходная... (*Декламирует.*) Брат мой, страдающий брат... выдь на Волгу, чей стон... (*Варе.*) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать.

Варя испугалась, вскрикивает.

Лопехин (*сердито*). Всякому безобразию есть свое приличие!

Любовь Андреевна (*оторопев*). Возьмите... вот вам... (*Ищет в портмоне.*) Серебра нет... Все равно, вот вам золотой...

Прохожий. Чувствительно вам благодарен! (*Уходит.*)

Смех.

Варя (*испуганная*). Я уйду... я уйду... Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Что ж со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще займы!..

Лопехин. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.

Варя (*сквозь слезы*). Этим, мама, шутить нельзя.

Лопехин. Охмелия, иди в монастырь...

Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде.

Лопехин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах<sup>1</sup>.

Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.

Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит.

Лопехин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневым сад. Думайте об этом!.. Думайте!..

Уходят все, кроме Трофимова и Ани.

Аня (*смеясь*). Спасибо прохожему, напугал Варю, теперь мы одни.

Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и прозрачное, что мешают быть свободным и счастливым,— вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!

Аня (*всплескивая руками*). Как хорошо вы говорите!

Пауза.

Сегодня здесь дивно!

Трофимов. Да, погода удивительная.

<sup>1</sup> «Офелия, о нимфа...» — слова Гамлета из трагедии Шекспира.

Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

Пауза.

Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово.

Трофимов. Если у вас есть колючи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны как ветер.

Аня (*в восторге*). Как хорошо вы сказали!

Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и — куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...

Аня (*задумчиво*). Восходит луна.

Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»

Трофимов. Да, восходит луна.

Пауза

Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!

Голос Вари: «Аня! Где ты?»

Опять эта Варя! (*Сердито*.) Возмутительно!

Аня. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо.  
Трофимов. Пойдемте.

Идут.

Голос Вари: «Аня! Аня!»

*Занавес.*

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Голос Симеонова-Пищика: «Promenade a une raire!» Выходят в гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй — Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей — Аня с почтовым чиновником, в четвертой — Варя с начальником станции и т. д. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по гостиной, Пищик кричит: «Grand-rond balancez!» и «Les cavaliers a genoux et remerciez vos dames!»<sup>1</sup>

Фирс во фраке приносит на подносе сельтерскую водку. Входят в гостиную Пищик и Трофимов.

Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний наш род Симеоновых-Пищиков происходил будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате<sup>2</sup>... (*Садится.*) Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо... (*Хранит и тотчас же просыпается.*) Так и я... могу только про деньги...

Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.

Пищик. Что ж... лошадь хороший зверь... лошадь продать можно...

Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде. В зале под аркой показывается Варя.

Трофимов (*дразнит*). Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..

Варя (*сердито*). Облезлый барин!

Трофимов. Да, я облезлый барин и горжусь этим!

<sup>1</sup> Французские выражения — названия танцевальных фигур и обращения при танцах.

<sup>2</sup> Калигула Гай Цезарь (12—41 гг. н. э.) — римский император, стремившийся к неограниченной власти; из прихоти намеревался сделать своего коня консулом; был убит заговорщиками.

Варя (*в горьком раздумье*). Вот наняли музыкантов, а чем платить? (*Уходит.*)

Трофимов (*Пищику*). Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиск денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю.

Пищик. Ницше<sup>1</sup>... философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно.

Трофимов. А вы читали Ницше?

Пищик. Ну... Мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай... Послезавтра триста десять рублей платить... Сто тридцать уже достал... (*Ощупывает карманы, встревоженно.*) Деньги пропали! Потерял деньги! (*Сквозь слезы.*) Где деньги? (*Радостно.*) Вот они, за подкладкой... Даже в пот ударило...

Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.

Любовь Андреевна (*напевает лезгинку*). Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? (*Дуняше.*) Дуняша, предложите музыкантам чаю...

Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.

Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати... Ну, ничего... (*Садится и тихо напевает.*)

Шарлотта (*подает Пищику колоду карт*). Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.

Пищик. Задумал.

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei!<sup>2</sup> Теперь поищите, она у вас в боковом кармане...

Пищик (*достает из бокового кармана карту*). Восьмерка пик, совершенно верно! (*Удивляясь.*) Вы подумайте!

Шарлотта (*держит на ладони колоду карт, Трофимову*). Говорите скорее, какая карта сверху?

Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.

Шарлотта. Есть! (*Пищику.*) Ну? Какая карта сверху?

Пищик. Туз червовый.

Шарлотта. Есть! (*Бьет по ладони, колода карт исчезает.*) А какая сегодня хорошая погода!

*Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ-идеалист, отрицающий объективную закономерность в развитии общества, считал движущей силой исторического процесса «волю к власти», борьбу за власть, в которой побеждает сильнейший.

<sup>2</sup> Раз, два, три! (*нем.*).

Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола:

«О да, погода великолепная, сударыня».

Вы такой хороший мой идеал...

Голос: «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился».

Начальник станции (*аплодирует*). Госпожа чревоушательница, браво!

Пищик (*удивляясь*). Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна... я просто влюблен...

Шарлотта. Влюблен? (*Пожав плечами.*) Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant<sup>1</sup>.

Трофимов (*хлопает Пищика по плечу*). Лошадь вы такая...

Шарлотта. Прошу внимания, еще один фокус. (*Берет со стула плед.*) Вот очень хороший плед, я желаю продавать... (*Встряхивает.*) Не желает ли кто покупать?

Пищик (*удивляясь*). Вы подумайте!

Шарлотта. Ein, zwei, drei! (*Быстро поднимает опущенный плед.*)

За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает в залу при общем восторге.

Любовь Андреевна (*аплодирует*). Браво, браво!..

Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei! (*Поднимает плед.*)

За пледом стоит Варя и кланяется.

Пищик (*удивляясь*). Вы подумайте!

Шарлотта. Конец! (*Бросает плед на Пищика, делает реверанс и убегает в залу.*)

Пищик (*спешит за ней*). Злодейка... какова? Какова? (*Уходит.*)

Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!

Варя (*стараясь ее утешить*). Дядечка купил, я в этом уверена.

Трофимов (*насмешливо*). Да.

Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, бог поможет, дядечка купит.

Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя,— нам она не верит,— а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить.

<sup>1</sup> Хороший человек, но плохой музыкант (*нем.*).

*(Закрывает лицо руками.)* Сегодня судьба моя решается, судьба...

Трофимов *(дразнит Варю)*. Мадам Лопахина!

Варя *(сердито)*. Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.

Любовь Андреевна. Что же ты сердисься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь — выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь — не выходи; тебя, дуся, никто не неволит...

Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.

Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждешь, не понимаю!

Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.

Трофимов. Благолепие!

Варя *(Трофимову)*. Студенту надо быть умным! *(Мягким тоном, со слезами.)* Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! *(Любови Андреевне, уже не плача.)* Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.

Входит Яша.

Яша *(едва удерживаясь от смеха)*. Епиходов бильярдный кий сломал!.. *(Уходит.)*

Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей... *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и без того в горе.

Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!

Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. *(В сильном беспокойстве.)* Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь... Я могу сейчас крикнуть... могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите...

Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано — не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.

Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где

правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом... *(Обнимает Трофимова, целует его в лоб.)* Ведь мой сын утонул здесь... *(Плачет.)* Пожалейте меня, хорший, добрый человек...

Трофимов. Вы знаете, я сочувствую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать... *(Вынимает платок, на пол падает телеграмма.)* У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя... Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню, клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место, так это странно. Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь... *(Смеется.)* Смешной вы!

Трофимов *(поднимает телеграмму)*. Я не желаю быть красавцем.

Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера и сегодня. Этот дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо... Он просит прощения, умоляет приехать, и по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать, он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним, кто удержит его от ошибок, кто даст ему вовремя лекарство? И что ж тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. *(Жмет Трофимову руку.)* Не думайте дурно, Петя, не говорите мне ничего, не говорите...

Трофимов *(сквозь слезы)*. Простите за откровенность, бога ради: ведь он обобрал вас!

Любовь Андреевна. Нет, нет, нет, не надо говорить так... *(Закрывает уши.)*

Трофимов. Ведь он негодяй, только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество...

Любовь Андреевна *(рассердившись, но сдержанно)*. Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист второго класса!



Трофимов. Пусть!

Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить... надо влюбляться! *(Сердито.)* Да, да! И у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод...

Трофимов *(в ужасе)*. Что она говорит!

Любовь Андреевна. «Я выше любви!» Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..

Трофимов *(в ужасе)*. Это ужасно! Что она говорит?! *(Идет быстро в залу, схватив себя за голову)*. Это ужасно... Не могу, я уйду... *(Уходит, но тотчас же возвращается.)* Между нами все кончено! *(Уходит в переднюю.)*

Любовь Андреевна *(кричит вслед)*. Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!

Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.

Что там такое?

Вбегает Аня.

Аня *(смеясь)*. Петя с лестницы упал! *(Убегает.)*

Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя...

Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней

Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна.

Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... Пойдемте танцевать... *(Танцует с Петей.)*

Аня и Варя танцуют.

Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы.

Яша. Что, дедушка?

Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и жив.

Яша. Надоел ты, дед. *(Зевает.)* Хоть бы ты поскорее подох.

Фирс. Эх ты... недотепа! *(Бормочет.)*

Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.

Любовь Андреевна. Merci. Я посижу... *(Садится.)*  
Устала.

Входит Аня.

Аня (*взволнованно*). А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.

Любовь Андреевна. Кому продан?

Аня. Не сказал, кому. Ушел. (*Танцует с Трофимовым.*)

Оба уходят в залу.

Яша. Это там какой-то старик болтал. Чужой.

Фирс. А Леонида Андреевича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди простудится. Эх, молодо-зелено!

Любовь Андреевна. Я сейчас умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.

Яша. Да он давно ушел, старик-то. (*Смеется.*)

Любовь Андреевна (*с легкой досадой*). Ну, чему вы смеетесь? Чему рады?

Яша. Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья.

Любовь Андреевна. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?

Фирс. Куда прикажете, туда и пойду.

Любовь Андреевна. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать...

Фирс. Да... (*С усмешкой.*) Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом.

Яша (*Любови Андреевне*). Любовь Андреевна! Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. (*Оглядываясь, вполголоса.*) Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры!

Входит Пищик.

Пищик. Позвольте просить вас... на вальсишку, прекраснейшая... (*Любовь Андреевна идет с ним.*) Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас... Возьму... (*Танцует.*) Сто восемьдесят рубликов...

Перешли в залу.

Яша (*тихо напевает*). «Поймешь ли ты души моей волненье...»

В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»

Дуняша (*остановилась, чтобы попудриться*). Барышня велит мне танцевать — кавалеров много, а дам мало, — а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется. Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило.

Музыка стихает.

Фирс. Что же он тебе сказал?

Дуняша. Вы, говорит, как цветок.

Яша (*зевает*). Невежество... (*Уходит.*)

Дуняша. Как цветок... Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.

Фирс. Закрутишься ты.

Входит Епиходов.

Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть... как будто я какое насекомое. (*Вдыхает.*) Эх, жизнь! Дуняша. Что вам угодно?

Епиходов. Несомненно, может, вы и правы. (*Вдыхает.*) Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуна, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я...

Дуняша. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. (*Играет веером.*)

Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь.

Входит из залы Варя.

Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. (*Дуняше.*) Ступай отсюда, Дуняша. (*Епиходову.*) То на бильярде играешь и кий сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость.

Епиходов. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.

Варя. Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно — для чего.

Епиходов (*обиженно*). Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие.

Варя. Ты смеешь мне говорить это! (*Всплиив.*) Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!

Епиходов (*струсив*). Прошу вас выражаться деликатным способом.

Варя (*выйдя из себя*). Сию же минуту вон отсюда! Вон!

Он идет к двери, она за ним.

Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!

Епиходов вышел; за дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться».

А, ты назад идешь? (*Хватает палку, поставленную около двери Фирсом.*) Иди... Иди... Иди, я тебе покажу... А, ты идешь? Идешь. Так вот же тебе... (*Замахивается.*)

В это время входит Лопахин.

Лопахин. Покорнейше благодарю.

Варя (*сердито и насмешливо*). Виновата!

Лопахин. Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.

Варя. Не стоит благодарности. (*Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко.*) Я вас не ушибла?

Лопахин. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромная.

Голоса в зале: «Лопахин приехал! Ермолай Алексеич!»

Пищик. Видом видать, слухом слышать... (*Целуется с Лопахиным.*) Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.

Входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Это вы, Ермолай Алексеич? Отчего так долго? Где Леонид?

Лопахин. Леонид Андреич со мной приехал, он идет...

Любовь Андреевна (*волнуясь*). Ну, что? Были торги? Говорите же!

Лопахин (*сконфуженно, боясь обнаружить свою радость*). Торги кончились к четырем часам... Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. (*Тяжело вздохнув.*) Уф! У меня немножко голова кружится...

Входит Гаев; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы.

Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну? (*Нетерпеливо, со слезами.*) Скорей же, бога ради...

Гаев (*ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача*). Вот возьми... Тут анчоусы, керченские сельди. Я сегодня ничего не ел... Столько я выстрадал!

Дверь в билльярдную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. *(Уходит к себе через залу, за ним Фирс.)*

Пищик. Что на торгах? Рассказывай же!

Любовь Андреевна. Продан вишневый сад?

Лопахин. Продан.

Любовь Андреевна. Кто купил?

Лопахин. Я купил.

Пауза.

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит.

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу... *(Смеется.)* Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! *(Хохочет.)* Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... *(Топочет ногами.)* Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... *(Поднимает ключи, ласково улыбается.)* Бросила ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь... *(Звенит ключами.)* Ну, да все равно.

Слышно, как настраивается оркестр.

Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!

Играет музыка, Любовь Андреевна опустила на стул и горько плачет.

*(С укором.)* Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. *(Со слезами.)* О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь!

Пищик *(берет его под руку, вполголоса)*. Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна... Пойдем... *(Берет его под руку и уводит в залу.)*

Л о п а х и н. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! (*С иронией.*) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (*Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.*) За все могу заплатить! (*Уходит с Пищиком.*)

В зале и гостиной нет никого, кроме Любви Андреевны, которая сидит, ждалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.

Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь! Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа... Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем!.. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, мама! Пойдем!..

*Занавес.*

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Л о п а х и н стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик. За сценой в глубине гул. Это пришли мужики. Голос Гаева: «Спасибо, братцы, спасибо вам».

Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич: народ добрый, но мало понимает.

Гул стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев; она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить.

Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя! Так нельзя!

Любовь Андреевна. Я не могла! Я не могла!

Оба уходят.

Л о п а х и н (*в дверь, им вслед*). Пожалуйста, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйста!

Пауза.

Что ж, господа! Не желаете? (*Отходит от двери.*) Знал бы — не покупал. Ну, и я пить не стану.

Яша осторожно ставит поднос на стул.

Выпей, Яша, хоть ты.

Яша. С отъезжающими! Счастливо оставаться! *(Пьет.)* Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.

Л о п а х и н. Восемь рублей бутылка.

Пауза.

Холодно здесь чертовски.

Яша. Не топили сегодня, все равно уезжаем. *(Смеется.)*

Л о п а х и н. Что ты?

Яша. От удовольствия.

Лопахин. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. *(Поглядев на часы, в дверь.)* Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.

Трофимов в пальто входит со двора.

Трофимов. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали. *(В дверь.)* Аня, нет моих калош! Не нашел!

Лопахин. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие.

Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.

Лопахин. Выпей-ка стаканчик.

Трофимов. Не стану.

Лопахин. Значит, в Москву теперь?

Трофимов. Да, провожу их в город, а завтра в Москву.

Лопахин. Да... Что ж, профессора не читают лекций, небось все ждут, когда приедешь!

Трофимов. Не твое дело.

Лопахин. Сколько лет, как ты в университете учишься?

Трофимов. Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско. *(Ищет калоши.)* Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволю мне дать тебе на прощанье один совет: не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки — размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так — это тоже значит размахивать... Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа...

Лопахин *(обнимает его)*. Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.

Трофимов. Для чего мне? Не нужно.

Лопехин. Ведь у вас нет!

Трофимов. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. *(Тревожно.)* А калош моих нет!

Варя *(из другой комнаты)*. Возьмите вашу гадость! *(Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)*

Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши!

Лопехин. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе займы, потому что могу... Зачем же нос драть? Я мужик... попросу.

Трофимов. Твой отец был мужик, мой — аптекарь, и из этого не следует решительно ничего.

Лопехин вынимает бумажник.

Оставь, оставь... Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я свободный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!

Лопехин. Дойдешь?

Трофимов. Дойду.

Пауза.

Дойду или укажу другим путь, как дойти.

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.

Лопехин. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без усталости, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреич, говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год... Только ведь не усидит, ленив очень...

Аня *(в дверях)*. Мама вас просит, пока она не уехала, чтоб не рубили сада.

Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта... *(Уходит через переднюю.)*

Лопехин. Сейчас, сейчас... Экие, право. *(Уходит за ним.)*

Аня. Фирса отправили в больницу?

Яша. Я утром говорил. Отправили, надо думать.

Аня *(Епиходову, который проходит через залу)*. Семен Пан-



телеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу. Яша (*обиженно*). Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз!

Епиходов. Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится, ему надо к праотцам. А я могу ему только завидовать. (*Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил.*) Ну, вот, конечно. Так и знал. (*Уходит.*)

Яша (*насмешливо*). Двадцать два несчастья...

Варя (*за дверью*). Фирса отвезли в больницу?

Аня. Отвезли.

Варя. Отчего же письмо не взяли к доктору?

Аня. Так надо послать вдогонку... (*Уходит.*)

Варя (*из соседней комнаты*). Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.

Яша (*машет рукой*). Выводят только из терпения.

Дуняша все время хлопочет около вещей; теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему.

Дуняша. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете... меня покидаете... (*Плачет и бросается ему на шею.*)

Яша. Что ж плакать? (*Пьет шампанское.*) Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ла Франс!<sup>1</sup> Здесь не по мне, не могу жить... ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество — будет с меня. (*Пьет шампанское.*) Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.

Дуняша (*пудрится, глядясь в зеркальце*). Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!

Яша. Идут сюда. (*Хлопочет около чемоданов, тихо напевает.*)

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна.

Гаев. Ехать бы нам. Уже немного осталось. (*Глядя на Яшу.*) От кого это селедкой пахнет?

Любовь Андреевна. Минут через десять давайте уже в экипажи садиться... (*Окидывает взглядом комнату.*) Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены! (*Целует горячо дочь.*) Сокровище мое, ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень?

Аня. Очень! Начинается новая жизнь, мама!

Гаев (*весело*). В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда

<sup>1</sup> Да здравствует Франция! Vive la France! (*фр.*)-

вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже... Я банковский служака, теперь я финансист... желтого в середину, и ты, Люба, как-никак, выглядишь лучше, это несомненно.

Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда.

Ей подают шляпу и пальто.

Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. *(Ане.)* Девочка моя, скоро мы увидимся... Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения — да здравствует бабушка! — а денег этих хватит ненадолго.

Аня. Ты, мама, вернешься скоро, скоро... не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги... Не правда ли? *(Целует матери руки.)* Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир... *(Мечтает.)* Мама, приезжай...

Любовь Андреевна. Приеду, мое золото. *(Обнимает дочь.)*

Входит Л о п а х и н. Шарлотта тихо напевает песенку.

Гаев. Счастливая Шарлотта: поет!

Шарлотта *(берет узел, похожий на свернутого ребенка).*  
Мой ребеночек, бай, бай...

Слышится плач ребенка: «Уа, уа!»

Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.

«Уа!.. Уа!..»

Мне тебя так жалко! *(Бросает узел на место.)* Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так.

Лопухин. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь.

Гаев. Все нас бросают, Варя уходит... мы стали вдруг не нужны.

Шарлотта. В городе мне жить негде. Надо уходить... *(Напевает.)* Все равно...

Входит Пищик.

Лопухин. Чудо природы!..

Пищик *(запыхавшись).* Ой, дайте отдышаться... замучился... Мои почтеннейшие... Воды дайте.

Гаев. За деньгами небось? Слуга покорный, ухожу от греха... *(Уходит.)*

Пищик. Давненько не был у вас... прекраснейшая... *(Лопухину.)* Ты здесь... рад тебя видеть... громаднейшего ума чело-

век... возьми... получи... *(Подает Лопяхину деньги.)* Четыреста рублей... За мной остается восемьсот сорок...

Лопяхин *(в недоумении пожимает плечами)*. Точно во сне... Ты где же взял?

Пищик. Постой... Жарко... Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину... *(Любови Андреевне.)* И вам четыреста... прекрасная, удивительная... *(Подает деньги.)* Остальные потом. *(Пьет воду.)* Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то... великий философ советует прыгать с крыши... «Прыгай!» — говорит, и в этом вся задача. *(Удивленно.)* Вы подумайте! Воды!..

Лопяхин. Какие же это англичане?

Пищик. Сдал им участок с глиной на двадцать четыре года... А теперь, извините, некогда... надо скакать дальше... Поеду к Знойкову... к Кардамонову... Всем должен... *(Пьет.)* Желаю здравствовать... В четверг заеду...

Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу...

Пищик. Как? *(Встревоженно.)* Почему в город? То-то я гляжу на мебель... чемоданы... Ну, ничего... *(Сквозь слезы.)* Ничего... Величайшего ума люди... эти англичане... Ничего... Будьте счастливы... Бог поможет вам... Ничего... Все на этом свете бывает конец... *(Целует руку Любови Андреевне.)* А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую... лошадь и скажите: «Был на свете такой-сякой... Симеонов-Пищик... царство ему небесное»... Замечательнейшая погода... Да... *(Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.)* Кланялась вам Дашенька! *(Уходит.)*

Любовь Андреевна. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая — это больной Фирс. *(Взглянув на часы.)* Еще минут пять можно...

Аня. Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил утром.

Любовь Андреевна. Вторая моя печаль — Варя. Она привыкла рано вставать и работать, и теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и плачет бедняжка...

Пауза.

Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич, я мечтала... выдать ее за вас, да и по всему видно было, что вы женитесь. *(Шепчет Ане, та кивает Шарлотте, и обе уходят.)* Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю!

Лопяхин. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все... Если есть еще время, то я хоть сейчас готов... Покончим сразу — и баста, а без вас я, чувствую, не сделаю предложения.

Любовь Андреевна. И превосходно. Ведь одна минута нужна, только. Я ее сейчас позову...

Л о п а х и н. Кстати и шампанское есть. (*Поглядев на стаканчики.*) Пустые, кто-то уже выпил.

Яша кашляет.

Это называется вылакатыть...

Любовь Андреевна (*оживленно*). Прекрасно. Мы выйдем... Яша, allez!<sup>1</sup> Я ее позову... (*В дверь.*) Варя, оставь все, по-ди сюда. Иди! (*Уходит с Яшей.*)

Л о п а х и н (*поглядев на часы*). Да...

Пауза.

За дверью сдержанный смех, шепот, наконец входит Варя.

Варя (*долго осматривает вещи*). Странно, никак не найду...

Л о п а х и н. Что вы ищете?

Варя. Сама уложила и не помню.

Пауза.

Л о п а х и н. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

Варя. Я? К Рагулиным... Договорились к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что ли.

Л о п а х и н. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.

Пауза.

Вот и кончилась жизнь в этом доме...

Варя (*оглядывая вещи*). Где же это... Или, может, я в сундук уложила... Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет...

Л о п а х и н. А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова... Я его нанял.

Варя. Что ж!

Л о п а х и н. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно... Градуса три мороза.

Варя. Я не поглядела.

Пауза.

Да и разбит у нас градусник...

Пауза.

Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!..»

<sup>1</sup> идите! (*фр.*)

Лопехин (*точно давно ждал этого зова*). Сию минуту!  
(*Быстро уходит.*)

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Что?

Пауза.

Надо ехать.

Варя (*уже не плачет, вытерла глаза*). Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду.

Любовь Андреевна (*в дверь*). Аня, одевайся!

Входит Аня, потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет  
Епиходов.

Теперь можно и в дорогу.

Аня (*радно*). В дорогу!

Гаев. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо...

Аня (*умоляюще*). Дядя!

Варя. Дядечка, не нужно!

Гаев (*уныло*). Дуплетом желтого в середину... Молчу...

Входит Трофимов, потом Лопехин.

Трофимов. Что же, господа, пора ехать!

Лопехин. Епиходов, мое пальто!

Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью...

Гаев. Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь...

Любовь Андреевна. Все вещи забрали?

Лопехин. Кажется, все. (*Епиходову, надевая пальто.*) Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке.

Епиходов (*говорит сиплым голосом*). Будьте покойны, Ермолай Алексеич!

Лопехин. Что это у тебя голос такой?

Епиходов. Сейчас воду пил, что-то проглотил.

Яша (*с презрением*). Неужество...

Любовь Андреевна. Уедем — и здесь не останется ни души...

Лопахин. До самой весны.

Варя (*выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась; Лопахин делает вид, что испугался*). Что вы, что вы... Я и не думала.

Трофимов. Господа, идемте садиться в экипажи... Уже пора! Сейчас поезд придет!

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. (*Со слезами.*) И какие они у вас грязные, старые...

Трофимов (*надевая калоши*). Идем, господа!..

Гаев (*сильно смущен, боится заплакать*). Поезд... станция... Круазе в середине, белого дуплетом в угол...

Любовь Андреевна. Идем!

Лопахин. Все здесь? Никого там нет? (*Запирает боковую дверь налево.*) Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..

Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!

Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. (*Уходит с Аней.*)

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой.

Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свидания!.. (*Уходит.*)

Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, чтобы их не услышали.

Гаев (*в отчаянии*). Сестра моя, сестра моя...

Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Голос Ани весело, призывающе: «Мама!»

Голос Трофимова весело, возбужденно: «Ау!»

Любовь Андреевна. В последний раз взглянуть на стены, на окна... По этой комнате любила ходить покойная мать...

Гаев. Сестра моя, сестра моя!..

Голос Ани: «Мама!»

Голос Трофимова: «Ау!»

Любовь Андреевна. Мы идем!

Уходят.

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Ф и р с. Он одет как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.

Фирс (*подходит к двери, трогает за ручку*). Заперто. Уехали. (*Садится на диване.*) Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал... (*Озабоченно вздыхает.*) Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (*Бормочет что-то, чего понять нельзя.*) Жизнь-то прошла, словно и не жил. (*Ложится.*) Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотепа!.. (*Лежит неподвижно.*)

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

*Занавес.*

1904

## СОДЕРЖАНИЕ

### НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Краткая биохроника Н. А. Некрасова . . . . .	3
В дороге . . . . .	5
Родина . . . . .	7
«Еду ли ночью по улице темной...» . . . . .	8
Тройка . . . . .	10
«Блажен незлобивый поэт...» . . . . .	11
Песня Еремушке . . . . .	12
Песня о труде (из «Медвежьей охоты»). . . . .	14
Памяти Добролюбова . . . . .	15
Пророк . . . . .	16
Элегия . . . . .	—
<b>Кому на Руси жить хорошо.</b> . . . . .	18
Крестьянка (из третьей части)	
Пролог . . . . .	—
Глава 1. До замужества . . . . .	27
Глава 2. Песни . . . . .	32
Глава 3. Савелий, богатырь святорусский. . . . .	38
Глава 4. Демушка . . . . .	48
Глава 5. Волчица . . . . .	57
Глава 6. Трудный год . . . . .	64
Глава 7. Губернаторша . . . . .	69
Глава 8. Бабыя притча . . . . .	77

### ИВАН САВВИЧ НИКИТИН

Краткая биохроника И. С. Никитина . . . . .	81
«Медленно движется время...» . . . . .	82
Разговоры . . . . .	83
Дедушка . . . . .	84
Ночлег в деревне . . . . .	85
Песня бобыля . . . . .	85
«С суровой долею я рано подружился...» . . . . .	86
Утро . . . . .	86

### МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Краткая биохроника М. Е. Салтыкова-Щедрина . . . . .	88
Сказки . . . . .	88



Дикий помещик . . . . .	90
Премудрый пескарь . . . . .	96
Медведь на воеводстве . . . . .	100
Орел-меценат . . . . .	109
Карась-идеалист . . . . .	116

### **ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ**

Краткая биохроника Л. Н. Толстого . . . . .	125
Смерть Ивана Ильича . . . . .	128

### **ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ**

Краткая биохроника Ф. М. Достоевского . . . . .	172
Вступительное слово, сказанное на литературном утре в пользу студентов С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г. перед чтением главы «Великий инквизитор» . . . . .	174
Великий инквизитор (из романа «Братья Карамазовы») . . . . .	—

### **АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ**

Краткая биохроника А. К. Толстого . . . . .	192
«Колокольчики мои...» . . . . .	194
«Край ты мой, родимый край...» . . . . .	—
«Средь шумного бала, случайно...» . . . . .	195
«Не ветер, вея с высоты...» . . . . .	—
«Не верь мне, друг, когда в избытке горя...» . . . . .	196
«Ты клонишь лик, о нем упоминая...» . . . . .	—
«Острою секирой ранена береза...» . . . . .	—
«Звонче жаворонка пенье...» . . . . .	—
«То было раннею весной...» . . . . .	197
«Ой, честь ли то молодцу лен прясти?...» . . . . .	198
«Кабы знала я, кабы ведала...» . . . . .	—
Колодники . . . . .	199
«Как селянин, когда грозят...» . . . . .	—
Илья Муромец . . . . .	200

### **ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ**

Краткая биохроника Я. П. Полонского . . . . .	202
Дорога . . . . .	204
«Пришли и стали тени ночи...» . . . . .	—
Затворница . . . . .	205
Качка в бурю . . . . .	206
Песня цыганки . . . . .	207
Колокольчик . . . . .	208
На закате . . . . .	209

### **АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АПУХТИН**

Краткая биохроника А. Н. Апухтина . . . . .	2Ю
«Ни отзыва, ни слова, ни привета...» . . . . .	9i i

«Сухие, редкие, нечаянные встречи...»	211
«Ночи безумные, ночи бессонные...»	—
«Из отроческих лет он выходил едва...»	212
«Мне не жаль, что тобою я не был любим...»	—
Пара гнедых	213
Памяти Ф. И. Тютчева	—

### **КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ФОФАНОВ**

Краткая биохроника К. М. Фофанова	215
«Весенней полночью бреду домой усталый...»	216
После грозы	—
«Как стучит уныло маятник...»	217
«Потуши свечу, занавесь окно...»	—
«Пел соловей, цветы благоухали...»	218
«Догорает мой светильник...»	—

### **АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ**

Краткая биохроника А. П. Чехова	219
Человек в футляре	221
Ионыч	231
Дама с собачкой	245

#### **Чайка (комедия в четырех действиях)**

Действие первое	258
Действие второе	270
Действие третье	279
Действие четвертое	287

#### **Вишневый сад (комедия в четырех действиях)**

Действие первое	300
Действие второе	314
Действие третье	324
Действие четвертое	334

Учебное издание

**РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА**

*Вторая половина*

10 класс

Хрестоматия художественных произведений

В двух частях

*ЧАСТЬ 2*

Составитель **Журавлев Виктор Петрович**

Редактор М. С. Вуколова

Художественный редактор А. П. Присекина

Художник А. А. Митрофанов

Технические редакторы Т. Н. Зыкина, Л. В. Марухно

Корректоры А. В. Рудакова, Е. Е. Никулина, О. Н. Леонова

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. № 010001 от 10.10.96. Подписано к печати с диапозитивов 01.03.2000. Формат 60X90<sup>1</sup>/<sub>6</sub>. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,0+0,25 форз. Усл. кр.-отг. 22,75. Уч.-изд. л. 21,67+0,42 форз. Тираж 40 000 экз. Заказ № 2409.

Государственное унитарное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Издательство «Просвещение» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной роши, 41.

Государственное унитарное предприятие ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.